ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE

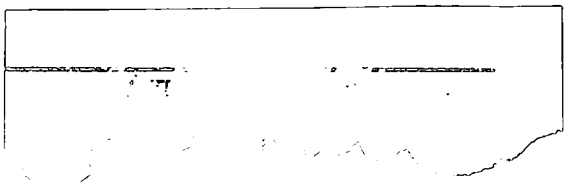
DISSERTATIONES SLAVICAE

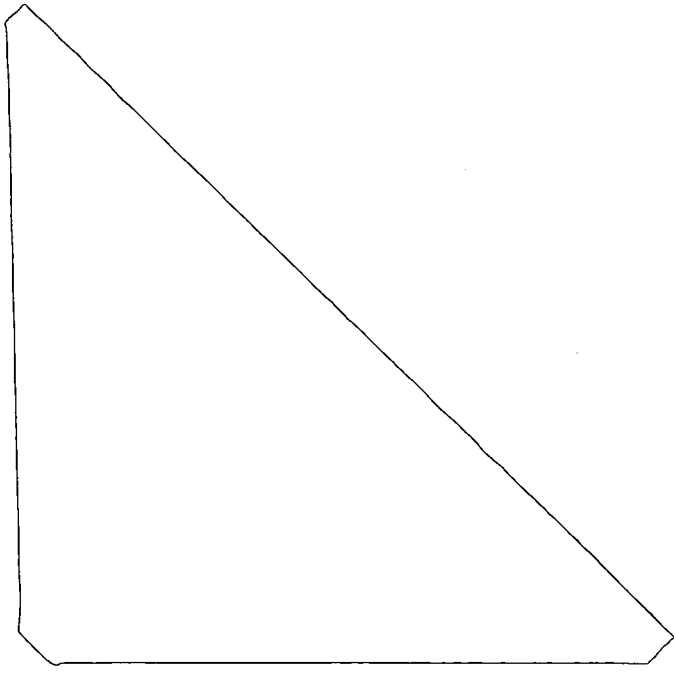
SLAVISTISCHE MITTEILUNGEN
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ ПО СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ

SECTIO LINGUISTICA

XXIV

SZEGED
1996





ACTA UNIVERSITATIS SZEGEDIENSIS DE ATTILA JÓZSEF NOMINATAE

DISSERTATIONES SLAVICAE

SLAVISTISCHE MITTEILUNGEN
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ ПО СЛАВЯНОВЕДЕНИЮ

SECTIO LINGUISTICA

XXIV

SZEGED
1996

Publicationes Instituti Philologiae Slavicae in Universitate de Attila József Nominata

Redigit:
Imre H. Tóth

Seriem publicationum edendam curat:
Károly Bibok

HU ISSN 0324-6523 Acta Univ. Szeged. A. József Nom.
HU ISSN 0237-9554 Diss. Slav.

СОДЕРЖАНИЕ

Рецензии

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 1-26.

ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОСКРЕСНЫХ МОЛИТВ СВ. КИРИЛЛА ТУРОВСКОГО

А.Е. Супрун - А.А. Кожинова

(Белорусский университет, Кафедра теоретического и славянского языкознания
Беларусь, 220080 Минск, пл. Независимости)

В дошедшем до нас творческом наследии выдающегося древнерусского поэта и церковного деятеля св. Кирилла Туровского (1130?-1182?) представлены не только блестящие проповеди (слова), а также повествования, но и молитвы. Их насчитывают более 30[1], иногда - 33[2], однако принадлежность некоторых молитв, приписываемых Кириллу, сомнительна, как и авторство канона памяти преподобной княгини Ольги, а также ряда других текстов.

Молитвы Кирилла Туровского, отличающиеся, как и его проповеди, выдающимися художественными достоинствами, изучены пока недостаточно, хотя были довольно популярными и включались в ряд сборников, молитвословов как рукописных, так и раннепечатных. Во второй половине XIX в. были опубликованы отдельные молитвы св. Кирилла (еп. Макарий (Булгаков)[3], И.И. Срезневский[4], М.И. Сухомлинов[5], Е.В. Барсов[6]), позже были напечатаны

---

[1] И.П. Ерёмин, Литературное наследие Кирилла Туровского. *Труды Отдела древнерусской литературы,* т. XI. Москва-Ленинград, 1955, 362-366.

[2] G. Podskalsky, *Christentum und theologische Literatur in der Kiever Rus' (988-1237).* München: C.H. Beck, 1982, 240-246.

[3] Макарий, еп. (Булгаков), Св. Кирилл, епископ Туровский как писатель. *Известия по ОРЯС,* т. 5. 1856, 248-263; Он же, *История русской церкви,* т. 3. Санкт-Петербург, 1888 (Воспроизведение: Düsseldorf, 1968/69), 168-171, 316-320.

[4] И.И. Срезневский, Еще заметки о творениях св. Кирилла Туровского. *Известия по ОРЯС,* т. 5. 1856, 306-313.

[5] М.И. Сухомлинов, *Рукописи графа А.С. Уварова,* т. 2. Санкт-Петербург, 1858, 99-104, 157.

[6] Е.В. Барсов, Харатейный список XIV в. молитв Кирилла Туровского. В кн.: *Труды седьмого археологического съезда в Ярославле,* т. 3. Москва, 1892, 46-51.

еще некоторые тексты молитв (М.И. Соколов[7], М.Н. Сперанский[8], Б.Ст. Ангелов[9]). К сожалению, все еще нет полной публикации молитв Кирилла Туровского из Ярославского сборника XII в., о котором писали М.Н. Сперанский, И.П. Ерёмин[10] (ГИМ, собр. Барсова); ср. факсимиле двух страниц с началом пятничной молитвы по вечерне в издании Ю.А. Лабынцева[11]. Между тем, в 1857 г. появилось первое "полное собрание" молитв св. Кирилла Туровского, изданное редакцией "Православного собеседника"[12] при участии В.И. Григоровича. Оно осуществлено по двум рукописям XV–XVI вв. из Соловецкого и Волоколамского монастырей с указанием разночтений еще по трем рукописям и печатному молитвослову XVI–XVII вв. (без титульного листа) из собрания Григоровича. Публикация эта (кроме предисловия) факсимильно воспроизведена в мюнхенской серии *Slavische Propyläen* в 1965 г. как ее шестой том[13]. В 1880 г. были изданы молитвы Кирилла Туровского в его "Творениях", опубликованных митрополитом Евгением (Болховитиновым) на основе не указанного старопечатного издания, которое по Лабынцеву[14] является изданием 1596 г., а также некоторых рукописей в оригинале, а также в русском переводе[15]. Обзор известных рукописей молитв Ки-

---

[7] М.И. Соколов, Некоторые произведения Кирилла Туровского в сербских списках. В кн.: *Древности. Труды славянской комиссии Московского археологического общества,* т. 3. Москва, 1902, 235–238.

[8] М.Н. Сперанський, Ярославський збірник XIII в. *Науковий збірник УАН за р. 1924.* Харків, 1925, 29–36.

[9] Б. Ст. Ангелов, Молитви на Кирил Туровски. В его кн.: *Из старата българска, руска и сръбска литература.* София: Изд. на БАН, 1958, 219–226.

[10] И.П. Ерёмин, Цит. соч., 365–366.

[11] Ю.[А.] Лабынцаў, *"Напой росою благодати..." Малітоўная паэзія Кірылы Тураўскага.* Мінск: Мастацкая літаратура, 1992, 32–33.

[12] Молитвы на всю седмицу св. Кирилла, епископа Туровского. *Православный собеседник.* Казань, 1857, 235–260, 273–351.

[13] Kirill von Turov, *Gebete.* München: Eidos, 1965. (Slavische Propyläen, Bd. 6.)

[14] Ю. Лабынцаў, Цит. соч., 45, 89.

[15] Евгений, еп. (Болховитинов), *Творения св. отца нашего Кирилла, епископа Туровского с предварительным очерком Турова и Туровской иерархии до XII века.* Киев, 1880.

рилла Туровского и их изданий был дан И.П. Ерёминым[16]. Осуществленное в типографии белорусского православного братства в Вильне издание "Молитвы повседневные" (1596) включало наряду с другими молитвами также "Молитвы С. Кирилла Инока на всю седмицу поряду". Это издание 21 молитвы св. Кирилла недавно факсимильно воспроизведено в книге Ю.А. Лабынцева[17].

В данной статье анализируются тексты воскресных молитв из числа молитв на всю седмицу на основании публикации "Православного собеседника" с учетом издания 1596 г. Можно отметить, что "печатное издание", разночтения из которого приводились в "Православном собеседнике", не всегда совпадает с изданием 1596 г. Цитируемое нами в основном популярное издание "Православного собеседника" раскрывает титла, а также вносит шрифтовые упрощения, в связи с чем аналогичные упрощения внесены в статье и в нескольких цитатах из издания 1596 г. Издание "Православного собеседника" в некоторых отношениях полнее, чем факсимиле издания 1596 г. Дело не только в том, что оно включает молитвы, не попавшие в молитвенник 1596 г., но и в отдельных других особенностях. Так, например, молитва во вторник по вечерне в факсимильном издании не имеет начала: после с. 145, на которой приведен лист КS̃ (26), на с. 146 отсутствует конец молитвы "по часѣхъ" и начало молитвы по вечерне, а начинается она с середины молитвы по вечерне (ср. с. 281-282 в "Православном собеседнике"). На с. 147 продолжается текст с. 146, но на ней нет славянской пагинации; следующий лист (с. 149) имеет славянский номер КЙ (28), а затем – при продолжающемся тексте – на с. 151 указан лист Л̃ (30), на с. 153 – опять лист Л̃ (30), а не ЛА̃ (31), как ожидалось бы; начиная со с. 155, пагинация идет регулярно: ЛВ̃ (32), ЛГ̃ (33) и т.д.

Наиболее существенные добавления (обозначены жирным шрифтом) по изданию 1596 г. к анализируемым здесь молитвам таковы:

с. 235 (Православный собеседник) – л. А̃ (1) об. издания 1596 г. (с. 96 у Лабынцева): *Съвѣдый ѿе немощъ мою. времена и лѣта живота моего свѣдый;*

---

[16] И.П. Ерёмин, Цит. соч., 362-366.

[17] Ю. Лабынцаў, Цит. соч., 95-235.

с. 238 – л. Г҃ (3) об. (с. 100): *Како Манассіа* ***по идолослуженіе пр°роки твоя и'бивъ*** (вместо: *беззаконьства много);*

с. 238 – л. Д҃ (4) (с. 101): *на убогую ми душу* ***преступиꙋ бо бы*** *всѣхъ твоиꙋ* ***заповѣдей. но;***

с. 240 – л. Е҃ (5) (с. 103–104): *помилуй насъ* ***всегда, и нынѣ и пр(и)сно и въ вѣкы вѣко***м. *Аминь.*

Таж, Гди помилуй, Л҃. (И т.д., полная цитата – далее);

с. 242 – л. З҃ (6) об. (с. 106): *пріими словесную сію жертву* ***яко авелевы дары*** (это разночтение приведено в "Православном собеседнике"; перечисленные здесь другие в издании, использованном Григоровичем, видимо, отсутствовали);

с. 245 – л. Ѳ҃ (9 – 9 об.) (с. 111–112), в конце молитвы по вечерне: *Аминь.* ***Таж, Поклонися Гж, гл(агол)я сіе. Моя многія грѣхи гѣи свои м(и)л(о)с(е)рдіем очиставъ помилоуй и сп(а)си мя. ги помилуй ВГ, и отпус.***

Молитва как тип текста содержит некоторые характерные элементы, обнаруживаемые и в текстах преподобного священноинока Кирилла. Вот эти элементы:

1. Адресат (часто называется в форме вокатива). В конечном счете – это Бог, просьба к которому однако может направляться не только непосредственно, но и через посредника (посредников): Богородицу, ангелов, апостолов, святых. Тогда возникает как бы двухъярусная система адресантов–адресатов.

2. Адресант (часто не называемый, а указываемый местоимением 1 лица). Это, главным образом, "я", иногда "мы", "раб Твой", "грешник", изредка "раб Твой имя рек". Иногда адресант выступает как посредник, молящий о чем-либо для социума или третьих лиц.

3. Мольба, выражаемая часто формой императива, сопровождаемой указанием на объект, дополнениями, пояснениями, например: *даждь спасение, даждь каплю милости, прости согрешения, очисти скверну души* и т.п.

4. Характеристики адресата (адресатов), посредника (посредников), представляющие собой **похвалы,** а также адресанта (адресантов), являющиеся часто **покаяниями.**

5. Обоснования мольб и **изложение мотивов,** по которым адресант надеется на их реализацию и/или по которым он обра-

щается к данному посреднику. Это происходит часто путем сравнений и аллюзий к Священному Писанию, его персонажам, ситуациям, событиям; обстоятельства молитвы, например, **время,** нередко соотносятся с аналогичными обстоятельствами в Библии.

Лишь первые три элемента обязательны в молитве, остальные – факультативны. При кажущейся монотонности элементов молитв благодаря довольно большому репертуару мольб, разнообразию обстоятельств и чередованию характеристик и прочих элементов молитв, различному их расположению в текстах, существует значительная свобода творчества для создателя молитвы, которой Кирилл Туровский пользовался блестяще.

Три воскресные молитвы, помещенные в издании 1596 г., обращены к одному Адресату – Господу Богу. Утренняя воскресная молитва начинается с провозглашения славы Адресату: *Слава Тебѣ, Господи Боже мой.* Сразу же притяжательным первого лица *мой* указывается адресант, что подтверждается и во второй части фразы: *яко сподобилъ мя еси видѣти день преславнаго воскресенiа Твоего.* В дальнейшем Адресант называется еще *Владыка* (интересно однако, что следующее употребление слова *владыка* обозначает адресанта, а потом оно отнесено снова к Богу), *Судiя, Творецъ; о Премилостиве, Господи Iисусе Христе, Духомъ святымъ Твоимъ, Отче и Сыне и Святый Душе.* Выбор синонимических обозначений Адресата мотивирован, что ярко видно из такого примера: *Но очисти мя, яко Спасъ, и прости ми, яко Богъ.* Или: *Кое ли слово изреку за грѣхы моя? Каковъ ли отвѣтъ будетъ ми отъ Судiи?* Указывают на Адресата еще местоимения *Ты, Самъ, Твой.* Перед концом молитвы окказионально Адресата обозначают еще слова *помощникъ* и *утѣшитель.* Только раз назван в тексте молитвы (в конце его) *посредникъ: спаси острастованную ми душу и вся Христiаны помилуй, молитвами Пречистыя Ти Матери Владычица нашея Госпожи Богородица.* (В издании 1596 г. только: *молитвами пре҃стыя б҃ца).* Но вообще молитва направлена адресату **непосредственно,** что подчеркивается и симметричным началу текста завершающим его обращением: *Яко Ты еси Богъ нашъ и Тебѣ мили ся дѣемъ: Отче и Сыне и Святый Душе, помилуй насъ въ вѣкы.*

Адресант обычно указывается формами личного местоимения 1 л. ед. ч. *азъ*, а также посессивного *мой;* после цитированного упоминания в конце молитвы всех христиан появляются и формы *насъ, нашъ* (2 раза). Перед этой концовкой уточняется имя адресанта: *И нынѣ не отверзи моленіа раба Твоего (имя рекъ), но спаси...* В издании 1596 г. это "имя рек" появляется ранее: *пріими мое исповѣданіе, недостойнаго раба твоего, им^р^к.* (4 об.). Адресант неоднократно в молитве указывает на свою связь с Адресатом. Ср. уже упомянутое использование слова *владыка: словесемь же и разумомъ превыше скота възнесе мя и твари всей владыку устроилъ мя еси.* Подобный характер имеют и некоторые другие пассажи: *Отъ земля создавый мя и животъ даровавый ми; Твой сынъ бывъ пороженіемъ купѣли духовныа* (заметим, что и как в случае со словом *владыка,* слово *сынъ* прилагается в молитве как к Адресату, так и к адресанту, а также к евангельскому (Лк. 15.11) *блудному сыну).* В начале молитвы указано, что Адресат *съвѣдый времена и лѣта живота моего, отъ юности моея и донынѣ пекыйся много, да быхъ спасенъ былъ,* дал адресанту заповедь, но адресант не оправдал возлагавшихся на него надежд и вверг в *срамную* (вариант: *смрадную) тину грѣховную* свою душу, ибо преступил все заповеди, *вся злая в животѣ моемъ съдѣяхъ и недостойна себе сътворихъ Твоеа милости* (и, по изд. 1596 г. также *царствія небеснаго).* Эта мысль о падении адресанта многократно повторяется в молитве как покаяние. Но уже в самом начале отмечено, что слава Адресату возносится адресантом, *яко сподобилъ мя еси видѣти день преславнаго воскресенія Твоего,* и, хотя адресант *безъ числа съгрѣшихъ, но не въздѣхъ рукы моеа къ Богу чюжему, ни отчаяхся отъинудь,* то есть по крайней мере двух заповедей не нарушил.

Утренняя воскресная молитва содержит много просьб. В начале довольно общий императив: (1) *разрѣши* (то есть освободи) *мя связана суща многыми грѣхы.* И сразу императив 3 л., передающий гипотетическую модальность: (2) *да возсіаетъ свѣтъ Твоея благодати въ омраченнѣй души моей.* Вторая небольшая серия мольб находится приблизительно на грани первой и второй третей молитвы:

(3) *пригвозди* страсѣ Твоемъ плоть мою;
(4) *не остави* мене до конца погибнути;
(5) *призри* на смиреніе мое.

Если первая из этих мольб (3) должна как бы обеспечить, чтобы адресант не совершил прегрешений из-за своей плоти, то две другие имеют общий характер: просьба о спасении вообще (4) и как бы подкрепление ее через призыв заметить смирение адресанта (5).

Самая большая серия мольб содержится в последней трети молитвы:

(6) *очисти* мя яко Спасъ;
(7) *прости* ми яко Богъ;
(8) *призри* на смиреніе мое;
(9) *не помяни* злобы грѣховъ, яже сътворихъ на убогую ми душу;
(10) *помяни,* Господи, пречистыхъ Твоихъ устъ глаголы;
(11) *пріими* мя яко разбойника и мытаря и блудницу и блуднаго сына;
(12) *пріими* мое покаяніе (изд. 1596 г.: исповѣданіе);
(13) *очисти* скверну души моея;
(14) *буди* ми помощникъ;
(15) силою креста Твоего *огради* мя;
(16) Духомъ Святымъ Твоимъ *утверди* мя;
(17) *возврати* посрамлены борющаяся со мною;
(18) *да исповѣдаютъ* уста моя множество милости Твоея;
(19) *не отверзи* моленіа раба Твоего (имя рекъ);
(20) *спаси* острастованную ми душу;
(21) вся Христіаны *помилуй;*
(22) *помилуй* насъ въ вѣкы (вариант по изд. 1596 г. см. ранее).

Далее в издании 1596 г. идет указание (вероятно, уже не Кириллово) на количество повторов мольбы *Господи помилуй* и некоторые другие мольбы: (23) Гди *помилоуй,* Л ("30"). Въскре^с^ из ме^р^твыхъ, ги іс хе бже мо^й^ *помилуй* мя и *сп(а)си* мя. ги *помилуй,* ВІ ("12"). Яко Петра помилова, и Ѳому увѣри. и мене *не презри* вл(а)^д^(ы)ко мой. ги *помилоу^й^* Г ("3"), и о^т^пѫстъ.

Третья серия мольб достаточно разнообразна, хотя и характеризуется большой обобщенностью, ср. (6), (7), (11), (15), (16), (23): *очисти мя, прости мя, пріими мя, огради мя, помилуй, помилуй мя, спаси мя, помилуй, не презри мене, помилуй.* Сюда примыкают и мольбы (21)-(22), где адресант просит за весь свой социум: *вся*

Христіаны помилуй, помилуй насъ. Кроме многократного *помилуй* здесь есть и более узкие семантически императивы *прости, спаси, пріими, не презри* и особенно *огради, утверди*. Но единообразие объекта и указание лишь на способ действия *(силою креста огради* (15), *Духомъ Святымъ утверди* (16), *пріими яко разбойника...* (11)) без конкретизации сферы воздействия делает эти мольбы достаточно широкими. В одном случае (8) повторяется уже высказанная (5) просьба, мотивирующая возможность прощения адресанта. В двух других адресант настаивает на приятии его молитвы (12 и 19), ср. и часть (23). Однажды мольба напоминает Адресату его высказывания (10). Дважды адресант молит о спасении своей души (13 и 20), оба раза вслед за просьбой о приятии его молитвы. Однажды выражена просьба не вспоминать прегрешения адресанта (9). Одна смелая просьба имеет общий характер: *буди ми помощникъ* (14). Другая содержит призыв к сдерживанию противником адресанта (17). Следует еще указать на безличный по сути, а по форме – 3 л. императив в мольбе (18), формально близкой к (2).

17 глаголов выступает в тексте молитвы для выражения просьб адресанта, один из них многократно, причем в постскриптуме рекомендуется повторить его – после трех раз в основном тексте – еще 45 раз: *помилуй*. Императив *призри (не презри)* встретился 3 раза, а глаголы *очисти, спаси, пріими, (не) помяни* – по 2. Глаголы более общего и частных значений чередуются в тексте. Лишь глагол *помилуй* сосредоточен в конце молитвы.

Некоторые характеристики Адресата и адресанта уже были названы в связи с рассмотрением представлений Адресата и адресанта. Видимо, из Иоанна Богослова восприняты Кириллом представления о неизреченном человеколюбии Христа, Его безмерном милосердии и бесчисленной щедрости. Это – главная черта Адресата, предстающая в молитве. Главная же черта адресанта – его человеческая грешность, проявляющаяся в ряде проступков и нечистых помыслов, преодолеваемая смирением и покаянием. При этом однако указывается на ряд положительных черт адресанта: через крещение (купель) он стал сыном Господним, вознесенным выше прочей твари разумом и словом. Однако он, окаянный, был своим умом и желанием ввергнут в смрадную (срамную) грязь (тину)

грехов, а теперь плачет и надеется на спасение благодаря Божьему милосердию.

Среди оснований, по которым адресант надеется на прощение, – ряд примеров из Священного писания, в которых говорится о том, как прощал Господь многим согрешившим. Эти примеры вместе с покаянием адресанта составляют среднюю часть молитвы:

Поминаю *Давида,* иже по дарѣ пророчестѣмъ въ ровъ любодѣянія впадъ (имеется в виду сожительство с вдовой убитого при участии Давида Урии – Вирсавией) и покаявся Тебѣ Богу и Творцу достоинъ бысть Твоеа благодати (ср. 2 Цар. 11.3; покаяние Давида: Пс. 50);

И за *Ахава* Самъ слово Пророку вѣщаеши глаголя: не имамъ сътворити прежь реченаго зла, яко видѣхъ его, како сѣтуя ходитъ, печалуя о своихъ грѣсѣхъ (ср. 3 Цар. 16.29; 21.27, 29).

Како *Манассіа* беззаконьствова много (изд. 1596: по идолослуженіи пр°роки твоя и³бивъ), всего Израиля осквернивъ и Тя, Бога отецъ своихъ прогнѣвавъ, преданъ бысть иноплеменнику въ казнь... (но) чрезъ надежу изятъ бысть оттуду (от пленивших его ассирийцев) преславно (ср. 4 Цар. 21; 33.11; молитва Манассии – в конце 2 кн. Паралипоменон).

Если о ветхозаветных покаявшихся и прощенных грешниках говорится подробно, то более известные новозаветные лишь названы:

Пріими мя, яко *разбойника* и *мытаря* и *блудницу* и *блуднаго сына:* тіи бо бѣша всѣми отчаеми; Ты же пріятъ я и раю сътвори жителя (ср. Лк. 23.43; Лк. 18.10–14; Иак. 2.25; Лк. 15.11 и др.);

Словомъ очистивъ *прокаженыа,* очисти скверну души моеа (ср. Мф. 8.3).

Вторая воскресная молитва (по часѣхъ), как и первая, непосредственно обращена к Господу. Она начинается с обращения, включающего 4 определения: *Боже* ***всемогый безначальный Господи, высокый и славный*** *Царю.* Далее следуют пять причастных определений:

владѣя всею тварію видѣмою и не видѣмою,
сѣдяй на Херувимѣхъ,
поемый отъ Серафимъ,
молимъ отъ Ангелъ
и отъ всѣхъ небесныхъ силъ *поклоняемь!*

Похвала продолжается: *Тебѣ служать горніи чинове тысящами и нижняя тварь съ страхомъ трепещетъ.* И резюмируется: *Ты еси Богъ единъ безгрѣшенъ.*

В тексте молитвы имеется еще несколько характеристик Адресата: *Ты же нынѣ святъ еси; Ты съвѣси тайная сердца моего; у Тебе есть источникъ животу.* Как и в утренней молитве, отмечается человеколюбие и милосердие Господне: *яко благъ и человѣколюбець, на Твое надѣюся милосердіе.* Повторяются также обращения: *Владыко, Ей Господи Боже мой, Іисусе Благодателю, Агнце Божій.* Молитва завершается провозглашением утверждения, которое является основанием для веры в осуществление ее содержания: *Яко благословенъ еси съ Отцемъ и съ Святымъ Духомъ и нынѣ присно и въ вѣки вѣкомъ* (Бог-Сын – Иисус перед этим был назван в обращении).

Адресант обозначается местоимением первого лица, на него указывает и притяжательное первого лица. Однажды он назван: *исправи молитву раба Твоего (имя рекъ).* Есть несколько указаний на грехи (исповеданий – покаяний в грехах): *оскверних душевную сію храмину и нѣсть* (так!) *пріяти достоинъ пречистаго Твоего тѣла; нечистъ и весь скверненъ есмь; помилуй кающася о своихъ съгрѣшеніихъ.*

При небольшом объеме молитвы в ней 15 императивов, выражающих мольбы:

(1) *Не презри* мене (ср. еще (4));
(2) *Премѣни* и мою скорбь душевную;
(3) печали *избави* грѣховныа;
(4) *Не презри* мене (ср. (1));
(5) *дажь* спасеніе душевному ми дому;
(6) *пріими* бесѣду молитвы моеа;
(7) *даждь* ми каплю милости Твоея;
(8) *угаси* изгорѣвшую ми душю;
(9) *устави* жажду сердца моего;
(10) *даждь* ми радостно преити день сій;
(11) *Призри* на смиреніе мое (ср. дважды в молитве по утрене);
(12) *исправи* молитву раба Твоего;
(13) *пріими* словесную сію жертву;

(14) мене не *уничижи,* просяща съгрѣшеніемъ прощенія;
(15) *помилуй* кающася о своихъ съгрѣшеніихъ.

Мольбы имеют довольно общий характер. Дважды адресант просит внимания (1, 4), трижды просит принять и исправить его молитву (6, 12, 13), в мольбе (11) речь идет о внимании к смирению адресанта. В трех мольбах речь идет о прекращении душевной скорби адресанта (2, 3, 8 и косвенно 9 и 10), в двух – о прощении прегрешений (14, 15), адресант просит о спасении душевного дома (5), о даровании капли Божьей милости (7).

В молитве "по часѣхъ" развернута система аллюзий к часу ее вознесения. Этим как бы продолжена начатая, но не развитая в утренней молитве. Динамизм синхронной молитвы получает подтверждение в диахронии. Утром речь шла в начале о том, что Бог дал адресанту увидеть день преславного воскресения, в который Адресат освобождает связанные грехами в аду души. Теперь говорится: *Не презри мене, молящаго Ти ся в годину шестую сего дне, въ нюже явися Апостоломъ Своимъ, печалнымъ сущемъ, и премѣни скорбь ихъ на радость показаніемъ пречистою Ти руку и ребръ.* Аллюзия здесь сразу к нескольким местам Св. Писания: Деян. 10.9; Мф. 28.8–16; Ио. 20.19–27; Лк. 24.29, 39. Далее опять соотнесения часа молитвы с событиями из Писания: *въ сій часъ, въ онь же рече Закхееви: днесь спасеніе дому твоему бысть* (ср. Лк. 19.8–9); *в сій часъ, въ оньже бесѣдовавъ съ женою Самарянынею и тайная сердца еа рекъ, велѣше просити животные воды* (ср. Ио. 4.6–27); *день сій, в онь же дасться агнець Аврааму вымѣсто Исаака на жертву* (ср. Быт. 22.12). Надежда на милосердие Адресата связывается в молитве с тем, что Он не отверг двух лепт *(двою мѣдницу)* бедной вдовы (ср. Лк. 21.2–3; Мк. 12.42–43). В молитве имеются и другие аллюзии к Писанию: о Херувимах (Пс. 17.11; 79.2; Ис. 37.15 и др.), Серафимах (Ис. 11.2, 6), Ангелах (Быт. 16.7–14 и мн. др.)[18], о страхе и трепете (1 Кор. 2.3 и др.), о мытаре (Лк. 7.29; 18.10–14), о разбойнике (Лк.

---

[18] Ангелологические представления в молитвах Кирилла Туровского специально разбирал Ф. Шольц: F. Scholz, Studien zu den Gebeten Kirills von Turov, I. In: *Sprache und Literatur Altrusslands. Aufsatzsammlung.* Münster: Aschendorff, 1987, 167–220.

23.43), о блудном (сыне?) (Лк. 15.11), в изд. 1596 г. – об Авелевых дарах (Быт. 4.2–8; Евр. 11.4); ср. еще выражение *Агнець Божій* (Ио. 1.29). Эта насыщенность текста молитвы материалами Священного Писания призвана была, видимо, усилить звучание молитвы, а в определенной мере тем самым повысить ее авторитетность и значимость для возносящего молитву, постоянно перемежая мольбы аналогами из Писания.

Первая молитва по вечерне снова обращена непосредственно к Богу. Она обрамлена благословлением Господа *(Благословлю Тя, Господи Боже мой... и Яко благословенъ еси всегда съ Отцемъ, и съ Святымъ Духомъ, въ безконечныа вѣкы)*. В начале текста (первая треть) подчеркивается слава Господня: *Прославляю святое Имя Твое; И что реку предъ славою Твоею, Господи; не отверзи мене... дерзающа на славословіе Твоего Божества; Его же* (в изд. 1596 г.: *Тя бо) всяко дыханіе и вся тварь съ страхомъ славитъ*. Затем приведены параллели из Священного Писания, позволяющие адресанту надеяться на выполнение его мольб, вслед за чем в последней трети молитвы – концентрированное перечисление 11 мольб (ранее их было 3). И наконец, перед завершением указаны возможные посредники: Пресвятая Богородица, святые Небесные силы, Михаил, Гавриил, Уриил, Рафаил, все святые, "от века угодившие Тебе"; указания на упоминаемых как в Ветхом, так и в Новом Завете (Лк. 1.19; Откр. 18.7) архангелов Гавриила и Михаила, а также на ангелов Уриила и Рафаила, названных в книгах Ветхого Завета: 3 Ездр. 4.1, 5.20, Тов. 3.16, 5.4 и др., в старопечатных изданиях отсутствуют. Адресат в тексте именуется *Господь, Богъ, Владыка, Іисусъ Христосъ (съ Отцемъ и съ Святымъ Духомъ)*, упоминается *Твое Божество, Твое Имя, Твое Лице*, кроме того указания на Адресата даются посредством местоимения второго лица. Адресант указывается местоимениями первого лица. Однажды отмечена универсальность, всеобщность адресантов: Бога славит *всяко дыханіе и вся тварь*.

Как и в предыдущих молитвах, подчеркивается *непобѣдимое человѣколюбіе* Адресата, *обычная* его *милость*. Эти качества подтверждаются рядом отсылок к Писанию: готовность принять пришедшего поздно, *во единуюнадесять годину* (Мф. 20.9), притча о званой вечере (Лк. 14.16–24) с указанием на адресанта как *Твоеа*

душекормныа вечеря възискающаго. Обращение в поздний час обосновывается ссылкой на то, что мудрых, приготовивших светильники, Адресат ввел *въ чертогъ царства небеснаго* (Мф. 25.4–10).

Из 14 мольб, содержащихся в молитве, три разбросаны в первых двух третях текста:

(1) *не отверзи* мене отъ лица Твоего;
(2) *не осуди* мене;
(3) *взыщи* мене на житійстѣмъ распутьи блудящаго.

Остальные 11 мольб сосредоточены ближе к концу молитвы:

(4) мене причастника [вечеря] *сътвори;*
(5) *не дай* же въ смерть уснути ми;
(6) *утверди* уды телесе моега, яже разслабѣхъ грѣхьми;
(7) *укрѣпи* душю мою, колеблющуся нечаяніемъ;
(8) *отжени* помыслы скверныя отъ сердца моего;
(9) *просвѣти* умъ, иже омрачися злымъ похотѣніемъ;
(10) *приклони* ухо Твое къ моленію моему
(11) *отпусти* вся грѣхы моя;
(12) конець благъ *даруй* ми;
(13) тако *отпусти* [душю] отъ телесе моего
(14) Ангела мирна *подажь* ми.

Мольбы по вечерне имеют в целом более конкретный характер, чем мольбы "по часѣхъ". Дважды адресант просит внимания (1, 10); две мольбы весьма общи (2, 11); знаменательно, что обе они после призыва к вниманию: *не отверзи – не осуди; приклони ухо Твое – отпусти вся грѣхы моя.* В четырех мольбах речь идет о смерти: сначала адресант просит не дать ему умереть не принятому (не прощенному) Богом (5), затем просит благую смерть (после отпущения грехов (12, 13)) и, наконец, молит дать ему *Ангела мирна* (14), который помог бы пройти путь к Адресату. Адресант молит привлечь его к вере (3, 4): *взыщи, сътвори* (участником духовной вечери). Для этого мольбы (6)–(9) конкретизируют отдельные элементы: *утверди уды, укрѣпи душю, отжени помыслы скверныя отъ сердца* и *просвѣти*

умъ. Конструкция этих четырех мольб, особенно первых трех близка: императив + объект + покаянная характеристика нарушений Божьих заповедей, совершенных через эти объкты *(душю... колеблющуся нечаяніемъ,* то есть сомнением; *уды... яже разслабѣхъ грѣхьми; умъ, иже омрачися злымъ похотѣніемъ)*. В мольбе (8) отсутствует инструменталь, но вместо этого объектом выступает прегрешение, а не грешная "часть" адресанта как в других мольбах. Уже не раз отмеченные цепочки однотипных конструкций довольно характерны и для других произведений Кирилла Туровского[19].

Четвертая воскресная молитва, опубликованная в "Православном собеседнике" (с. 246–247) по рукописи XV–XVI вв. Волоколамского собрания № 109, где авторство Кирилла не указано; другие списки издателям не были известны, нет этого текста и в печатном молитвослове библиотеки Григоровича, а также в издании 1596 г.

Эта молитва, в отличие от предшествующих, начинается не с прямого указания на Адресата. Вместо этого с обильно повторенным корнем *свѣт-* выступает некоторое указание на ряд адресатов, названных *(Ангельскія силы)* лишь в третьей фразе, к которым и отнесена первая мольба (императив мн. ч.): (1) милостиво молитву *пріимите*. Это не соответствует общей установке Кирилла воскресные молитвы адресовать непосредственно Богу, в понедельник – ангелам, во вторник – Иоанну Крестителю, в среду – Богоматери и т.д.[20]. Существо не совсем четкого, возможно, не вполне сохранного текста далее состоит в покаянии адресанта, ожидающего смерти: *Живота моего конецъ насталъ, и злыхъ отверженіа не сотворихъ*. В середине молитвы появляется относительно точное название адресатов (в адресованной также ангелам понедельничной утренней молитве адресаты названы в начале и более четко): *Сего ради, припадая, молю Вы, Вашего прося милосердія, Архангелъ множество*

---

[19] A.E. Suprun, Die lexikalische Struktur eines altrussischen Textes. Studien zur Palmsonntagspredigt (Slovo na verbnicu) Kirills von Turov. In: *Sprache und Literatur Altrusslands*. Münster: Aschendorff, 1987, 236-237.

[20] D. Tschižewskij, *Geschichte der altrussischen Literatur im 11., 12. und 13. Jahrhundert. Kiever Epoche*. Frankfurt am Main: V. Klostermann, 1948, 387.

безплотныхъ и Ангельскія чины. За сим следует серия из 9 мольб, занимающих почти всю вторую половину молитвы:

(2) огня гееньскаго *избавите* мя;
(3) отъ страстей ми воздержатися *помолитеся;*
(4) *покорите* мя закономъ Божественнымъ;
(5) *сотворите* мя сильна на врага видимаго и невидимаго;
(6) увѣтлива *сотворите* мене нынѣ Зижителеви;
(7) Со спасшимся ликомъ *причтите;*
(8) не угасающаго пламени *избавите* мя;
(9) *не отрините* мене не достойнаго;
(10) *Избавите* мя отъ работы (то есть – греха, страдания).

Содержание мольб сводится к просьбам об избавлении от адских мук (2, 8, 10), о развитии у адресанта воли сопротивления грехам (3, 5), покорности Создателю (4, 6), а тем самым – о спасении (7, 10). Мольбы перемежаются указанием адресатов: имен (7), их обозначений: *чинове святіи, начальная Ангеломъ архистратига, заступникы къ Богу и ходатая Архангелы.* Конец молитвы достаточно стандартен: *Тому подобаетъ слава и хваленіе Отцу и Сыну и Святому Духу и нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ. Аминь.*

Если первые три воскресные молитвы легко укладываются в представление о частях единого текста, то четвертая молитва с ними не соотносится. Ее первая часть стилистически трудно объединяется с тремя первыми молитвами. Изменен здесь и адресат. Есть некоторые нехарактерные для других молитв слова: *увѣтливъ, не отрините, гееньскый, вещь, милостивно, огнеобразный, причтити* и др. Просьбы избавить от адского огня в предшествующих молитвах отсутствовали, но гораздо серьезнее звучали саморазоблачительные слова адресанта, делавшие его покаяние более глубоким; многие мольбы имели более конкретный характер. Во второй вечерней молитве отсутствует развернутая похвала адресатам, характерная для предыдущих молитв. Нет прямых указаний на Господа как Адресата передаваемых Ему через заступников и ходатаев мольб. Не встретились и типичные противопоставления, отмеченные, например, в утренней молитве: *яко Спасъ – яко Богъ;* ср. и в Слове на Пасху: *яко человѣкъ* –

яко Богъ, яко царь – яко Богъ[21]. Учитывая эти соображения, можно выразить сомнение в авторстве Кирилла Туровского по отношению ко второй молитве по вечерне, которое и не было приписано в заголовке молитвы.

Количественные данные о лексической структуре воскресных молитв св. Кирилла Туровского представлены в следующей таблице:

Количество	Молитвы			
	по утрене	по часѣхъ	по вечерне	
			первая	вторая
Словоупотреблений (С)	697	303	362	215
Разных слов (Р)	317	165	190	137
Средняя частота слова (С/Р)	2,20	1,84	1,90	1,57
Лексическое разнообразие (Р/С)	0,45	0,54	0,52	0,64
Слов, использованных 10 или более раз (слов/словоупотреблений)	9/199	2/33	6/88	1/13
5–9 раз	17/112	10/60	6/38	4/25
4 раза	3/12	6/24	6/24	1/4
3 раза	20/60	9/27	8/24	11/33
2 раза	45/90	21/42	24/48	20/40
1 раз	223	117	140	100

[21] А.Е. Супрун – А.А. Кожинова, К лексической структуре древнерусского текста (на материале Слов Кирилла Туровского). В кн.: *Probleme der Textlinguistik/ Проблемы лингвистики текста. Gemeinschaftsarbeit von Wissenschaftlern der Partneruniversitäten Bochum und Minsk.* München: Otto Sagner, 1989, 106. (Specimina Philologiae Slavicae, Supplementband 28.)

Во всех четырех текстах отмечены 26 слов, занимающие более трети текстовой совокупности (в словоупотреблениях): 559 из 1577 словоупотреблений. Это 14 служебных слов, форм глагола *быти,* местоимений (473 словоупотребления): *и* (союз), *азъ, быти, мой, въ, не, яко, отъ, и* (мест.), *же, на, бо, съ/со, по,* а также 12 полнозначных слов (86 словоупотреблений): *святый, пріяти, нынѣ, молитва, животъ, достоин(ый), ангелъ, вѣкъ, сила, аминь, духъ, недѣля.* Только три последних слова из этого списка встретились лишь по одному разу в каждой из молитв. 41 слово отмечено в трех молитвах, в том числе 27 – в первых трех: *Твой, Ты, весь, но, свой, Богъ, Господь, день, рещи/речи, сердце, отець, владыка, милость, часъ, дати, свѣдати, Іисусъ, имя, уста, уста, грѣшный, о, тварь* и др. 76 слов встретились в двух молитвах каждое, причем только 23 – в паре, включающей вторую вечернюю молитву. Значительная часть слов встретилась только в одной молитве: в утренней – 194, в том числе 26 более одного раза; в дневной – 75 и 11; в первой вечерней – 89 и 9; во второй вечерней – 73 и 11. Эти "эксклюзивные" слова иногда связаны напрямую с содержанием: так, во второй вечерней молитве в связи с обращением к посредникам встретились такие слова как *вы, вашь, архангелъ, заступникъ, безплотный* и др.

Доля общих с другими молитвами слов в большой утренней молитве составляет 39 проц., в небольших дневной и первой вечерней – 55 и 53, а в самой маленькой второй вечерней – 46 проц., что может свидетельствовать о своеобразии текста. Это, как и другие количественные данные, подтверждает предположение о возможности иного авторства этой молитвы.

Основу для построения семиотической структуры данных текстов определяет цель и задача молитвы: молитва – это мольба, просьба, направленная к Богу прямо или через посредников. Основными средствами реализации этой цели должны быть лексемы *молити(ся), просити, молитва.* Однако содержащих их фрагментов в тексте немного: *и мытаря, съ вздыханіемъ молящася; молящаго Ти ся въ годину шестую сего дне; Боже всемогый безначальный Господи... молимъ отъ Ангелъ; молю Вы... Архангелъ множество безплотныхъ и Ангельстіи чины; и исправи молитву раба Твоего; и вечернюю нынѣ молитву къ Тебѣ приносяща; да и нощныя молитвы въздамъ Тебѣ; мо-*

литвами вашими уветлива сотворите мене нынѣ Зижителеви; велѣши просити жывотныя воды; просяща съгрѣшеніемъ прощенія; Вашего прося милосердія Архангелъ множество и Ангельстіи чины.

Такое отношение связывает прежде всего человека и Бога. Как уже говорилось, иногда эта связь прерывается, или, лучше сказать, упрочивается посредником – Ангелом или Архангелом. Просьба, молитва лишь одна составляющая этого отношения. Другая его составляющая – реакция на просьбу. Без нее молитва теряет смысл, и связь между человеком и Богом может быть нарушена.

Один вид такой реакции – дар Бога человеку. Недаром епископ Кирилл внес в свою молитву классическую евангельскую цитату: *Ищете, обрящете, просите и дасться вамъ* (ср. Мф. 7.7). Прежде всего отношения дарения выражаются лексемами *дати* и *подати: даждь ми каплю милости Твоея; дажь спасение душевному ми дому; и Ангела мирна подажь ми.*

Как видно, предикаты всех этих фрагментов оформлены повелительным наклонением. Вмешательство императива приводит к тому, что долженствовавшее быть результатом просьбы возвращается на первоначальную стадию. Человек же снова становится субъектом просьбы, направленной к Богу. Таким образом, молитва с помощью лексических и грамматических средств становится текстом, полностью пронизанным этой идеей. Просьбой оформляются и многие другие идеи, например, исцеления и спасения: *дажь спасение душевному ми дому; спаси острастованную ми душю; утверди уды телеси моего; Духомъ святымъ Твоимъ утверди мя* (ср. выражение той же идеи другими ирреальными наклонениями: *да быхъ спасенъ былъ; да спасена ми будетъ душа).*

Императив "детерминирует... устойчивую презентно-футуральную перспективу"[22]. Поэтому предикат, связанный с выражением прошлого дара, принимает форму индикатива (verbum finitum и participium): *въ онь же дасться огнець Аврааму вымѣсто Исаака на жертву; и животъ даровавый ми.*

Последний фрагмент связывает дар с идеей сотворения жизни, которая также объединяет Бога и человека, ср. также фрагменты

---

[22] *Теория функциональной грамматики.* Ленинград: Наука, 1990, 88.

с однокоренными предикатами *подати* и *создати: яко отъ Тебе всяко дыхание съ страхомъ подавается; отъ земля создавый мя.*

Объединение это тем более сильное, что происходит через уподобление – Бог создает человека по своему образу и подобию: *почтенъ во образъ Создавшаго; и своего образа подобіемъ украси мя.* С другой стороны, Бог уподобляется человеку: *имъ же плотію человѣкъ бысть.* В обоих этих случаях субъектом отношения является Бог.

Идее начала жизни противостоит идея жизненного конца, также сопряженная с идеей дара. Тут Кирилл обнаруживает показательную двойственность. С одной стороны, он пишет: *не дай же въ смерть уснути ми; даждь ми радостно преити дань сій.* Эти два фрагмента связаны со сметрью плоти и отражают естественный страх перед ней. А другой фрагмент – *конець благъ даруй ми* – обусловлен иным рождением. *Твой сынъ бывъ порожденіемъ купѣли духовныя* значит, что человек принял крещение, стал христианином. Истинный же христианин должен относится к переходу в иной мир радостно и с благодарностью.

Следующая ступень отношений мольбы и дара должна состоять в принятии испрошенного дара. Действительно, в тексте четырех молитв неоднократно встречается глагол *приятн.* Однако и здесь логическая структура оказывается нарушенной. Берет не человек, хотя фрагменты с предикатом *дати* предполагают именно его в качестве субъекта этого отношения. Принимающим становится Бог, человек просит его об этом и становится объектом, т.е. приносит себя Богу: *о Премилостиве, пріими мя, яко разбойника и мытаря и блудницу и блуднаго сына, тіи бо бѣша всѣми отчаеми, Ты же пріятъ я; иже во единуюнадесять годину пришедшаго пріятъ, и мене такоже пріими.* Таким образом, Господь выступает в тексте молитв как универсальный адресат.

Кроме того, глагол *приятн* участвует в представлении Бога, страдающего за мир и человечество: *ей, Господи Боже, пріимый грѣхы всего мира.*

По мнению Кирилла Туровского, человек не может здесь быть субъектом, стать во главе этого отношения, принять дар Бога: *и нѣсть пріяти достоинъ пречистаго Твоего тѣла.* Реализует же он себя в этом отношении следующим образом: *и пріяхъ губителя.*

Также человек просит Бога принять его нематериальный дар – снова молитва: *но, яко благъ и человѣколюбець пріими бесѣду молитвы моеа въ сѣй часъ; милостивно молитву пріимите* (здесь место Бога занимает посредник-Ангел); покаяние – *пріими мое покаяніе не достойнаго раба Твоего;* словесная жертва – *и пріими словесную сію жертву отъ устъ грѣшенъ.*

В последнем случае атрибут *словесный* при лексеме *жертва* обязателен. Он позволяет отличить обозначаемое ей понятие от материальной жерты Ветхого Завета.

Этимолигически *жертва* связывается с молитвой в хетт. *malda(i)* 'давать обет, просить что-нибудь у богов, обещая принести им жертву'[23].

С понятием жертвы имеет определенную общность и понятие милости, причем не только через слова Христа "Милости хочу, а не жертвы" (Осия 6.6; Мф. 9.13, 12.7). Этимологически корень *мил-* связан с др.-инд. *miyedha-, medhas-;* авест. *myazda-* 'жертва, жертвенная пища'[24]. Собственно, жертва – это то, с чем человек идет к Богу, милость же – то, с чем Бог идет к человеку. Лексемы с этим корнем представлены в следующих фрагментах: *и вся Христианы помилуй; Отче и Сыне и Святый Душе помилуй насъ въ вѣкы; но яко разбойника и блуднаго помилуй кающася о своихъ съгрѣшеніихъ; но обычною си милостию помиловавъ; и недостоина себе сътворихъ Твоея милости; да исповедаютъ уста моя множество милости Твоея; надею бо ся Твоея милости; но на Твое надеюся милосердіе.*

Лексемы *помиловати, милость* обладают достаточно широкой семантической сферой. В переводных текстах, например, в житиях и проповедях Супральского сборника *помиловати* может переводить греческое ἐλευτερόω[25] 'освобождать, отпускать на волю, оправдывать по суду' (ср. также прагерм. **meldan,* родственное молитве –

---

[23] В.В. Мартынов, *Становление праславянского языка по данным славяно-иноязычных контактов.* Минск: Наука и техника, 1982, 13.

[24] J. Pokorny, *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch,* I. Band. Bern und München: Francke, 1959, 711-712.

[25] K.H. Meyer, *Altkirchenslavisch-griechisches Wörterbuch des Codex Suprasliensis.* Glückstadt und Hamburg: J.J. Augustin, 1935, 182.

'рассказывать, обвинять кого-нибудь публично, выступать просителем на суде'[26]). Это дает основание вовлечь в семантическое поле милости следующие фрагменты: *день преславнаго воскресенiа Твоего, въ онь же свободилъ еси сущая во адѣ связаныя праведныхъ душа! Тоя свободы и азъ желаю.*

Далее лексема *милость* в текстах того же Супрасльского сборника переводит греческое φιλανθρωπία[27] 'человеколюбие'. В молитвах Кирилла Туровского человеколюбие является частой божественной характеристикой: *вѣдѣ бо бесчисленыя Твоа щедроты и не изреченное Твое человѣколюбiе; помышляя образъ Твоего человѣколюбiя; Твое бо не побѣдимое человѣколюбiе.*

Корень *мил-* также связан с др.-инд. *mayas-* 'отрада, радость, удовольствие'[28]. В данном случае мы имеем дело с эмоциями, которыми отмечен только человек: *видѣхъ его, како сѣтуя ходитъ, печалуя о своихъ грѣсѣхъ. Ей, Владыко мой, и еще приложю, плачася передъ Тобою великыхъ и неудобь цѣлимыхъ моихъ язвъ; и того ради стеню изъ глубины сердечныа и слезю болезненою ми душею.*

Выражение печали более присуще молитве. Однако радость – чувство, также достойное христианина. Дело лишь в дистрибуции: "время плакать и время смеяться"(Еккл. 3.4) – *въ нюже явися Апостоломъ Своимъ по воскресенiи, печалнымъ сущемъ, и премѣни скорбь ихъ на радость показанiемъ пречистою Ти руку и ребръ. Премѣни и мою скорбь душевную, обдержащую мя нынѣ и печали избави грѣховныя.*

Что же касается смеха, то Кирилл Туровский придерживается мнения Екклесиаста, но отцов церкви ("поелику Господь осуждает смеющихся, то явно, что верному никогда нет времени смеха"[29]), и делает смех дьявольской принадлежностью: *смѣхъ быхъ демономъ.*

С печалью же наоборот связан глагол *печися,* который выражает заботу Бога о человеке: *отъ юности моея и донынѣ пекыйся*

---

[26] В.В. Мартынов, Цит. соч., 13.

[27] K.H. Meyer, Op. cit., 182.

[28] J. Pokorny, Op. cit., 712.

[29] Василий Великий, Правила, кратко изложенные в вопросах и ответах. В кн.: *Творения св. отцов в русском переводе, издаваемые при Московской Духовной Академии,* т. 9. Москва, 1847, 229.

много; яко о мнѣ грѣшнемъ всегда печешися; плотию же пекыйся. В текстах Кирилла Туровского можно встретить и конверсив, когда субъектом этого отношения становится человек: *оженивыйся печется, како угодити женѣ, а неженивыйся печется, како угодити Богови: она печаль ведетъ въ муку, а си печаль ведетъ въ жизнь вѣчную* (Повесть о белоризце и о мнишестве).

С попечением связано также одно из греческих соответствий лексемы *милость* – ἀντιλεψις, которое означает 'заступничество, помощь'[30]. Это значение – 'помощь' – встречается, в частности, в следующем фрагменте: *яко бысть помощникъ мой во всякой скорби и утѣшитель въ день печали моея.* Здесь лексема *помощникъ* связывается с лексемой *утѣшитель.* Однако их отношения выходят за пределы фрагмента, и объединяются они не только синтагматическим сопряжением. Дело в том, что в славянских текстах греческое παράκληοις, имеющее в новозаветных текстах значение 'утешение', переводится как *молитва.* Снова отношения возвращаются к основной семантической составляющей рассматриваемых текстов.

Во фрагменте *и твоея помощи и заступленія взыскающаго* лексема *помощь* уравнивается с лексемой *заступление,* имеющей значение 'защита, заступничество'[31]. И снова такая сема содержится в греческих эквивалентах слова *молитва* – ικεσία 'моление о защите' и ικετερία 'масличная ветвь, которую умоляющие о защите держали в руках или клали на алтарь Бога, пер. просьба'[32], ср. фрагменты с однокоренными формами: *вы бо стяжахомъ заступникъ къ Богу и ходатая Архангелы; къ Вамъ, окаянный, прибѣгохъ, яко заступникомъ сущимъ.*

Все упомянутые выше идеи – молитвы и просьбы, дара и жертвы, милости и помощи – связаны со сближением с Богом, объединением Бога и человека.

Отношение сближения с Богом занимает существенное место в тексте молитвы. Прежде всего, оно эксплицитно выражается лексемами с префиксом *при-:* человек стремится к Богу – *не вѣдѣ, къ*

---

[30] K.H. Meyer, Op. cit., 182.

[31] *Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.).* Москва: Наука, 1990.

[32] А.Д. Вейсман, *Греческо-русский словарь.* Санкт-Петербург, 1899, 627.

кому ся приближу; ей, Владыко мои, и еще приложю; сего ради, припадая, молю Вы (здесь Бог замещается посредником); *со спасшимся ликомъ причтите, Михаиле и Гавріиле, начальная Ангелом архистратига; его же и мене причастника створи* (в двух последних случаях человек является инициатором сближения, а конкретная реализация возлагается на Бога и его Ангелов); Бог нисходит к человеку – *Іисусе Благодателю Агнце Божии! Призри на смиреніе мое; приклони ухо Твое къ моленію моему; не пришелъ бо еси звать праведныхъ, но грешныхъ на покаяніе.*

Отвечающий заявленному выше условию глагол *приидти* указывает на возможность выразить отношение сближения с Богом глаголами движения: *въ нюже явися Апостоломъ Своимъ повоскресеніи; како явлюся лицу твоему; да въ полунощи пришедшу Ти съ собою въведеши я въ чертогъ царства небеснаго.* Если для лексемы *явитися* значение приближения является одним из основных, т.е. она выражает одностороннее действие Бога[33], то глагол *въвести* обозначает сближение с Богом на основе совместного действия. Вне предиката идея совместности в этом случае поддержана также местоимением *собою,* а кроме того, выражается в локативе *(чертогъ царства небеснаго)* – место, доступное лишь Богу, становится обиталищем человека.

Способ выражения отношения сближения с Богом через совместное обиталище использован во фрагменте *и раю сътвори жителя* (ср. *рай – чертогъ царства небеснаго).* Идея же совместного действия представлена лексемой *соглагольникъ* во фрагменте *и прекраснаго лика Твоихъ Ангелъ соглагольника имети хотя.*

Совместный, единый путь упоминается Кириллом Туровским еще в одном случае – для представления сотворения человека: *отъ небытія мя въ бытіе привелъ еси.* Идея пути – очень емкая идея, прекрасно представляющая отношение сближения, единения человека и Бога потому, что, по евангельскому определению, сам Христос – это путь: *Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня* (Ио. 14.6).

---

[33] И.И. Срезневский, *Материалы для словаря древнерусского языка (по письменным памятникам),* т. 3. Санкт-Петербург: Изд. Имп. Академии наук, 1912, 1634.

Объединение с Богом также представляется в тексте молитв от противного – отрицанием предиката со значением 'отвергнуть, отдалить' (лексемы *отвергти, оставити, отринути, презрети)*. Двойное отрицание создает необходимое значение приближения: *и нынѣ не отверзи моленія раба Твоего; понеже не отверже двою мѣдницу вдовицы оноя; и нынѣ не отверзи мене отъ лица Твоего; безплотныя Начала и Власти и Господства не отрините мене не достойнаго; но не остави мене до конца погибнути, Іисусе, благое имя; не презри мене, Владыко, въ сій часъ.*

Значение отвержения используется в тексте и по своему прямому назначению – как удаление от добра, отвержение добродетелей: *не имамъ кътому прилепляющеся добродѣтели* (отрицается приближение, выраженное предикатом *прилепляющеся); отъ нея удалѣешися душе по неразумъствію смертнаго существа вещи; и далече сотворихъся отъ Твоея благодати; злыхъ бо моіхъ ради дѣлъ прогнахъ хранителя души моея Ангела* (в другом списке *прогнахъ* заменено на *прогнѣвахъ*, поэтому ср. также *азъ же присно прогнѣваю Тя; и Тя, Бога отець прогнѣвавъ).*

Удаление от Бога, отвержение Бога представлено и лексемой *отречися*. В тексте она противопоставляется лексеме *звати,* которая на этой основе приобретает возможность выражать значение сближения. Противопоставление подчеркивается общей для обеих лексем семой 'говорить': *не осуди мене, Владыко, яко и преже званыхъ на Твою вечерю и отрекшихся своимъ жестокосердіемъ*. Далее фрагмент продолжается на основе общности, теперь уже формальной (ср. формы глагола *взискати)* и декларирует взаимное стремление друг к другу Бога и человека: *но взыщи мене на житѣйстѣмъ распутьи блудящаго Твоеа душекормныа вечеря възыскающаго.*

Лексема *нагый* имеет значение 'лишенный одежды'[34]. В тексте реализован метафорический перенос – *да не нагъ обрящуся отъ добрыхъ дѣлъ,* используя лишь одну, отрицательную составляющую. Но в другом случае, для обозначения удаления от добродетелей Кирилл Туровский берет и обойденную в результате переноса часть значения: *раздавъ первую боготканую ми одежу и осквернивъ плоти моея ризу.*

---

[34] И.И. Срезневский, Цит. соч., т. 2. 1902, 275.

Отношение удаления, отвержения имеет своим объектом и человеческие грехи, пороки и наказания. Именно в таком употреблении оно встречается в тексте наиболее часто. Представляют его глаголы *избавити: избавите мя отъ работы; не угасающаго пламени избавите мя; и печали избави грѣховныя; отъ воздушныхъ князь избавляющаго мя молитвами и молениемъ Пресвятыа Богородица* (ср. молитва и моление как орудие изгнания); *отгнати: тяжкой сонъ отгнавше; отжени помыслы скверныя отъ сердца моего; отпустити: и отпусти вся грѣхы моя; и тако отпусти отъ телесе моего; очистити: словомъ очистивъ прокаженыа; очисти скверну души моея; но очисти мя яко Спасъ* (ср. *и духовное дѣло в чистотѣ совершити повелѣлъ ми еси; не чистѣ устнѣ имуща; аще бо нечистъ и весь скверенъ есмь).*

Отношения, вызываемые в тексте идеей молитвы и просьбы, выходят далеко за рамки предикативных фрагментов, включающих эти лексемы. Помимо прямой экспликации возникают более сложные связи, опирающиеся как на синтагматическое основание взаимодействия лексем в тексте, так и на синонимическую парадигму как в одном языке, так и в разных языках, или даже на парадигматические отношения, возникающие между значениями одного и того же слова, а также на отношения между лексемами в диахронической ретроспективе.

Получается, что различные средства направлены на достижение одной цели – представить стремление человека к единению с Богом непосредственно, или посредством дара и жертвы, слова и просьбы, или через посредника-Ангела, часто через преодоление греха и наказания.

Представляется, что здесь мы имеем дело со своего рода параллелизмом, но не контактным, о котором обычно идет речь в работах, посвященных этой теме[35], а дистантным. В этом случае отражение сходной семантики происходит не в связанных в линейной

---

[35] А.Н. Веселовский, *Историческая поэтика.* Москва: Высшая школа, 1989, 107; В.М. Жирмунский, О ритмической прозе. *Русская литература* 1966, № 4, 103-114; Д.С. Лихачев, *Поэтика древнерусской литературы.* Москва: Наука, 1979, 169-171; Р. Якобсон, Грамматический параллелизм и его русские аспекты. В кн.: Р. Якобсон, *Работы по поэтике.* Москва: Прогресс, 1987, 99-132.

последовательности предложениях, а во фрагментах, разбросанных по тексту. Однако сопоставления всех этих фрагментов отвечают условию, высказанному А.Н. Веселовским, что "они могли накопиться если не до цельного образа, то до более или менее сложного комплекса, отвечавшего первым спросам познания. Мы зовем его мифом; такие комплексы давали формы для выражения религиозной мысли"[36].

[36] А.Н. Веселовский, Цит. соч., 103.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 27–38.

РАЗЛИЧИЯ В СТРУКТУРЕ СОВРЕМЕННЫХ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ (РУССКОГО И ЧЕШСКОГО)

Станислав Жажа

(Stanislav Žaža, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, 660 88, Brno, ČR)

1. Выражение "близкородственные" в отношении чешского и русского языков может показаться сомнительным или даже неверным, так как близкородственными принято считать, как правило, прежде всего языки одной подгруппы, т.е., например, русский и украинский, чешский и словацкий, болгарский и македонский и т.п. Тем не менее, ряд аналогичных явлений в области морфологической системы и синтаксической структуры исследуемых нами языков – русского и чешского – позволяют, по нашему мнению, употребление этого выражения.

2. Однако несмотря на генетическое родство русского и чешского, сопоставительное изучение их современного состояния обнаруживает ряд системных и других различий во всех их планах, на всех уровнях языковой структуры.

3. Так, в области **словарного состава** одним из различий является наличие большего количества наименований аналитического типа в русском языке, в то время как преобладающим словообразовательным типом чешского является суффиксальное образование, т.е. синтетический тип. Примером оппозиции обоих типов может служить образование названий заводов, фабрик, магазинов и др. учреждений; ср., напр., *цементный завод – cementárna, бумажная фабрика – papírna, писчебумажный магазин – papírnictví, (продавец писчебумажного магазина – papírník);* к подобным случаям можно отнести и названия разных языков: *русский, венгерский, китайский... язык – ruština, mad'arština, čínština...;* названия частей целого: *пятая, шестая, сотая часть – pětina, šestina; setina;* названия денежных сумм: *плата за вход – vstupné, плата за проезд – jízdné, почтовый*

сбор – poštovné, надбавка к зарплате за отдельное жительство от семьи при командировке – odlučné (см. Chlupáčová 1974, Žaža 1991).

С указанной оппозицией связана и бóльшая употребительность в русском языке аналитических глагольно-именных сочетаний вместо полнознаменательных глаголов, как *обращать внимание – všímat si, подвергать анализу – analyzovat* и мн. др.

4. Другим из важных различий в области словарного состава сопоставляемых языков является отношение русского и чешского языка к заимствованным словам неславянского происхождения. В связи с тем, что чешский язык на протяжении веков развивался в пределах западной культурной сферы, в нем встречается ряд слов немецкого и латинского происхождения, как, напр., *Vánoce – Weihnachten* 'рождество', *kostel – castellum* 'церковь', *klášter – Kloster/ claustrum* 'монастырь', *taška – Tasche* 'сумка', *muset – müssen* 'быть должен' и мн. др.

В условиях угрожающей германизации многие из немецких слов были устранены из чешского языка в эпоху национального возрождения в XIX веке. Некоторые, правда, сохранились, однако относятся к сфере сниженной лексики, как, напр.: *mašina, štempl, špagát, futrál, kasa, fechtovat, presovat* и др., в то время как соответствующие им русские выражения полностью стилистически нейтральны, ср. *машина, штемпель, шпагат, футляр*...

С другой стороны, в чешском, как и во многих других европейских языках, укоренились в качестве интернационализмов многие выражения латинского или греческого происхождения (ср., напр., Йирачек 1971). Многие из подобных выражений (их около 400) в русском языке отсутствуют; ср., напр., *demise – отставка, edice – издание, invaze – вторжение, нападение, koprodukce – совместное производство, familiární – непринужденный, urgovat – настойчиво напоминать, eventuálně – возможно* и др.

5. В области **фонетики и фонологии** выразительное различие между русским и чешским заключается в том, что русская система звуков богаче согласными, что вытекает из наличия в ней регулярной оппозиции твердых и мягких, в то время как в чешском языке эта оппозиция сводится лишь к согласным *d, t, n;* ср. *dým* 'дым' – *dím*

'молвлю', *let* 'полет' – *let'* 'лети', *žen* 'женщин' (р. п.) – *žeň* 'урожай'. В противоположность этому, числом гласных чешский превышает русский вследствие фонологической долготы гласных и наличия дифтонгов *ou* (и *eu, au* в заимствованных словах), ср. *dal* 'он дал' – *dál* 'далее', *muže* 'мужчины' – *může* 'он может', *tu* 'эту' – *tou* 'этой'.

Чешский язык отличается от русского также наличием слогообразующих звуков *r* и *l*: ср. *držet – держать, vrčet – ворчать, vlna – волна, mlčet – молчать* и др.

Выразительное различие представляет и тип ударения: разноместное и подвижное в русском – устойчивое на первом слоге (или на предлоге) в чешском. Редукции гласных в чешском нет.

6. Исторические изменения звуков оказали сильное влияние на современную **морфологическую систему**. К самым выразительным факторам следует отнести влияние палатализации, перегласовок и контракции гласных.

В чешском сохранились палатализованные формы в склонении существительных: *ruce – руке, noze – ноге, Slováci – словаки.*

В результате перегласовок типы склонения существительных с мягкой основой в чешском существенно отличились от склонения существительных с твердой основой, ср.: *generál, -a, -u – učitel, -e, -i* и русское *генерал, -а, -у – учитель, -я, -ю,* где различия сводятся в основном лишь к графике.

Процесс контракции гласных *(aja – á, oje – é, eje – é, ije – í...)* стал причиной упрощения склонения мягких прилагательных; ср. *летняя, -ую, -ее, -ие – letní,* а также причиной возникновения новых типов спряжения глаголов: *делаешь, делает, -аем, -аете – děláš, dělá, -áme, -áte, умеешь, умеет, -еем, -ете – umíš, umí, -íme, -íte* (причем формы 1-го л. ед. ч. *dělám, umím* заимствованы от атематических глаголов).

В результате разных изменений и инноваций, нередко взаимодействующих в противоположном направлении, система словоизменения в русском языке оказывается проще, чем в чешском. Свидетельством этому могут служить, между прочим, унифицированные формы мн. ч. существительных *-ам, -ах, -ами (школам, заводах, душами, костям...);* трем русским формам соответствует 13 чешских:

školám, -ách, -ami; závodům, -ech, -y; duším, -ích, -emi; kostem, -ech, -mi; staveními 'зданиями'.

7. В отличие от русского, в чешском почти отмерли краткие (именные) формы прилагательных, ср.: *дом высок – dům je vysoký, книга дорога – kniha je drahá, ваши взгляды правильны – vaše názory jsou správné*. Сохранилось лишь несколько прилагательных: *(je) zdráv, nemocen, živ, mrtev, šťasten, dlužen, schopen, jist – он здоров, болен, жив, мертв, счастлив, должен, уверен.* Наоборот, в чешском более медленно отмирают прилагательные притяжательные, ср. *ředitelův syn – сын директора, Věřina odpověď – ответ Веры* и др.

Примером аналитизма в русском языке является изменение прилагательных по степеням сравнения, ср. *веселый – более веселый – самый веселый*. В чешском степени сравнения образуются синтетически: *veselý – veselejší – nejveselejší* (ср. в венгерском: *vidám – vidámabb – legvidámabb).*

8. Ряд разных различий можно наблюдать и у других частей речи (числительных, местоимений и наречий; ср. Adamec 1980).

В области употребления страдательных форм глаголов – возвратных и описательных – наиболее выразительным расхождением является тот факт, что в чешском языке описательные формы могут употребляться и от глаголов несовершеннохо вида; ср.: *chlapec je vychováván v rodině strýce – мальчик воспитывается в семье дяди; stroje byly vyráběny v zahraničí – машины производились за границей.* Наоборот, возвратная форма в чешском нередко встречается и у глаголов совершенного вида; ср. *našel se pes – была найдена собака; obilí se sklidí včas – зерно будет убрано вовремя.*

9. В области **синтаксической структуры** сопоставительный анализ предоставил нам возможность разностороннего познания русского и чешского предложения.

Наблюдая русское и чешское предложение с точки зрения его внутренней структуры, можно обнаружить несколько выразительных особенностей системного характера. Одной из этих особенностей является весьма частое асимметрическое строение субъектно-предикатного (базового) комплекса русского предложения. Оно находит отражение в том, что субъектный или предикатный компо-

нент базового комплекса или подавлены, или отсутствуют (ср. Bauer-Mrázek-Žaža 1979, Grepl-Karlík 1988).

10. Одной из форм подавления субъектного компонента является деноминативизация производителя действия. Она находит выражение:

а) в общеотрицательных предложениях; их подлежащее находится в форме родительного отрицательного: *денег нет, вопросов не последовало, затруднений не оказалось.* В чешском одержала верх номинативная, симметрическая конструкция: *peníze nejsou, (žádné) otázky nenásledovaly, obtíže nebyly.* Родительный отрицательный встречается в основном лишь в качестве нескольких реликтов: *není námitek, připomínek; nebylo pomoci* и мн. др.

б) в предложениях с модальностью возможности/необходимости, содержащих форму дательного - производителя действия: *Петру можно вернуться, дедушке надо отдохнуть, ей придется уехать, ученикам нельзя шуметь, Ирине убирать комнату* и др. В чешском предложении преобладающим эквивалентом опять-таки является номинативная конструкция с личной формой модальных глаголов *moci, smět* (возможность, разрешение), *muset, mít* (необходимость, долженствование): *Petr se může vrátit, dědeček si musí odpočinout, žáci nesmějí hlučet, Irena má uklízet pokoj* и т.п. (ср. Běličová 1983).

в) в предложениях с производителем действия, представленным стихийной силой: *ветром сорвало крышу, молнией зажгло дерево, течением снесло лодку.* Эквивалентом таких конструкций также является номинативная конструкция: *vítr strhl střechu, blesk zapálil strom, proud unesl lod'ku.* Если производитель действия не выражен, то и тогда в чешском предложении сохраняется симметрическое строение, а именно с помощью неопределенного подлежащего *to: по всему дому загудело - po celém domě to zahučelo; его отбросило в сторону - odhodillo ho to stranou.*

11. Другими формами подавления субъектного компонента является анонимизация и генерализация личного субъекта. Средством выражения анонимизации и генерализации являются предложения, содержащие форму 3-го л. мн. ч. или 2-го л. ед. ч., традиционно называемые неопределенно-личные *(здесь продают билеты, в дверь постучали)* и обобщенно-личные *(в конце предложения ставят*

точку, вас не убедишь). Подобные конструкции возможны и в чешском языке, но лишь при условии, что говорящий исключен из числа производителей действия, т.е. в варианте неопределенно-личном *(zde prodávají lístky)*. Однако и здесь заметна тенденция, а то и необходимость, заменять указанные предложения симметричными конструкциями: *zde se prodávají lístky* (страдательная конструкция), *někdo zaklepal na dveře*.

Обобщенно-личных предложений вышеуказанного типа в чешском языке вообще нет. Им соответствуют чаще всего страдательные конструкции: *в конце предложения ставят точку – na konci věty se píše tečka*. Предложениям типа *вас не убедишь* соответствуют номинативные конструкции с обобщенным подлежащим *člověk: člověk vás nepřesvědčí*.

12. Основным примером подавления предикатного компонента может служить невыражение форм наст. вр. глагола *быть*.

Необходимым последствием невыражения этой формы является обязательное употребление личного местоимения: *он студент 1-го курса, я читал, вы искали меня?* В противоположность этому, в чешском языке строгой необходимости употреблять местоимение нет, так как глагольная форма регулярно выражается: *je studentem 1. ročníku, byl jsem doma, hledala jste mě?*

Отсутствие наст. вр. глагола *быть* в русском языке нередко компенсируется наличием некоторого из глаголов существования *(встречаться, иметься, наличествовать...)* или (полу)связочных глаголов *(являться, состоять, служить, числиться...)*.

13. В разговорном русском языке склонность к подавлению глагольного компонента предложения сказывается также в обилии разного рода неполных, эллиптических предложений: *вы к кому? вам кого? о чем он так долго?* и т.п. Высшая частота подобных предложений в русском языке также связана с обязательным употреблением личных местоимений. Ср. ч. *Ke komu jdete?/Vy jdete ke komu? Koho hledáte? O čem (on) dlouho mluví?*

14. Выразительным различием между русским и чешским языком является также способ передачи посессивных отношений (ср. Mrázek 1973). Выражению этой категории служат в русском языке преимущественно глаголы типа *esse (быть, стать, оказаться, встре-*

чаться, иметься), напр.: *у отца (есть) машина, на Тане новое платье, в году 12 месяцев, у сестры не стало терпения, денег у него не оказалось.* Этим русский язык сближается с венгерским, в то время как чешский относится к группе языков, в которых преобладают глаголы типа *habere: otec má auto, Táňa má nové šaty, rok má 12 měsíců, sestra už nemá trpělivost, právě neměl peníze.* Функциональный диапазон чешского глагола *mít* однако еще гораздо шире: он употребляется в качестве эквивалента семантически более конкретных русских глаголов: *má radost – он радуется, kolik má Petr měsíčně? – сколько Петр получает в месяц?, máme po dešti – дождь прошел* и мн. др.

15. В сфере отрицательных конструкций можно установить два основных явления, отличающих сопоставляемые нами языки:

а) почти полное отсутствие в чешском родительного отрицательного: *в театре нет эскалаторов – v divadle nejsou eskalátory, я не получил ответа – nedostal jsem odpověď, Петя не читает детективов – Pét'a nečte detektivky;*

б) весьма распространенное употребление в чешском полного отрицания на месте частного: *я играю не на скрипке, а на гитаре – nehraju na housle, ale na kytaru; на снимке был не Вася, а Петя – na snímku nebyl Vasja, ale Pét'a.*

16. Внимания заслуживает также наодинаковая мера употребления предикативного творительного (см. Мразек 1964). В чешском в форме предикативного тв. п. употребляются лишь существительные, в русском сфера его употребления шире, ср. *он был веселым – byl veselý, Саша вернулась загорелой – Saša se vrátila opálená;* ср. также *мальчиком Юра играл в хоккей – jako chlapec hrál Jura hokej.*

17. Склонность к именному характеру высказывания в русском сказывается также в обильном употреблении именных форм глаголов (деепричастий, причастий, отглагольных существительных, инфинитива). В чешском языке нередко оказывается обязательным употребление придаточной конструкции:

(1) а. Войдя в комнату, он поздоровался.
б. Když vešel do pokoje, pozdravil.

(2) а. Прибывшая вчера делегация посетила музей.
б. Delegace, která včera přijela, navštívila muzeum.

(3) а. Он уговорил Веру остаться дома.
б. Přemluvil Věru, aby zůstala doma.

18. В области употребления страдательных конструкций самым выразительным расхождением является тот факт, что в чешском языке производитель действия может выражаться лишь в конструкциях с описательной формой страдательного залога. Ср.:

(4) а. Дом строится группой каменщиков.
б. Dům je stavěn (*se staví) skupinou zedníků.

19. Различия имеются также в области порядка слов и актуального членения высказывания (ср. Адамец 1966). К самым выразительным относятся, по всей вероятности, следующие:

а) в русском языке чаще субъективный порядок слов:

(5) а. Праздник же сегодня. (рема – тема)
б. Dnes je přese svátek. (тема – рема)
(6) а. Непрактичный он человек!
б. To je nepraktický člověk!

Подобный порядок слов, однако, иногда теряет субъектиный характер. Ср., напр., заглавие газетной статьи (7а), не отличающееся почти ничем от "объективного" варианта (7б):

(7) а. Нелегкие задачи ждут украинских земледельцев.
б. Украинских земледельцев ждут нелегкие задачи.

б) в русских предложениях, начинающихся со второстепенного члена предложения (обстоятельства, дополнения), на втором месте стоит именной элемент, в чешском – глагольный:

(8) а. Вчера в наш город приехал премьер-министр.
б. Včera přijel do našeho města premiér.

20. При анализе предложения с точки зрения его коммуникативной направленности (цели высказывания) существенное различие можно обнаружить прежде всего в области т.н. замкнутого вопроса (*да/нет*-вопроса).

В русском языке этот тип вопроса отличается от сообщения лишь типом интонации: ИК-1 меняется в ИК-3, причем интонационный центр выделяется повышением тона. Ср.:

(9) а. Петя проводит нас к остановке. (ИК-1)
б. Петя проводит нас *к остановке?* (ИК-3)
в. Петя *проводит* нас к остановке?

Чешский замкнутый вопрос характеризуется 1. обратным порядком слов, 2. антикаденцией, т.е. повышением тона в конце предложения и 3. тенденцией перемещать интонационный центр на конец предложения. Ср.:

(10) а. Petr nás doprovodí k zastávce.
б. Doprovodí nás Petr *k zastávce?*
в. Petr nás k zastávce *doprovodí?*

21. В результате сопоставительных исследований были приобретены обширные сведения по структуре и архитектонике отдельных типов конструкций. Может даже возникнуть впечатление, что вряд ли еще существуют неописанные явления.

Тем не менее, результаты сопоставительного описания, по нашему мнению, можно и нужно развивать путем углубленного анализа взаимоотношений синтаксической структуры и коммуникативных функций высказывания с учетом коммуникативной ситуации.

Под понятием **коммуникативной функции** высказывания подразумеваем цель, с которой говорящий реализует высказывание, т.е. сообщение, приказ, просьбу, рекомендацию, разрешение, отклонение, возражение, отказ, предостережение, угрозу и т.п.

Задачей лингвистического анализа является находить и характеризовать релевантные виды и разновидности таких функций и обнаруживать соответствующие им стабилизированные языковые

средства и их конфигурации вместе с условиями, при которых возможно выполнение данной цели – иначе говоря, искать **коммуникативные формы** высказывания (ср. Grepl–Karlík 1988).

22. В качестве коммуникативных форм высказывания функционируют средства разного характера, а именно грамматические (формы наклонения, лица, времени и вида), лексические (частицы и изофункциональные выражения) и фонические (виды интонации, место интонационного центра, темп речи и т.п.). Важную роль играют также пресуппозиция и связанные с ней возможности транспозиции (морфологических категорий, видов интонации, отрицания), нередко, конечно, также сама лексическая семантика предикаторов. Ввиду того что все эти конституэнты действуют комплексно, во взаимодействии, то пропуск или замена некоторых из них являются, как правило, причиной сдвига или даже распада коммуникативной функции.

23. Многие сложные закономерности или тенденции отношений между коммуникативной функцией и формами высказывания, встречающиеся в пределах одного языка, были уже описаны в ряде работ (ср., напр., Daneš 1985, Grepl–Karlík 1988 и др.). Более затруднительным, однако, является обнаружение и описание подобных отношений в сопоставительном плане, так как в сопоставляемых языках, хотя и близкородственных, необходимо считаться с неодинаковым специфическим весом отдельных конституэнтов.

Описывая отношения коммуникативных функций и форм высказывания, можно исходить или из факта наличия отдельных коммуникативных функций и описывать разные средства их выражения, т.е. разные формы высказывания; или, наоборот, из описания разных форм высказывания, обслуживающих ту или иную коммуникативную функцию.

24. Примером анализа первого типа ("от функции к форме") может служить перечисление форм высказывания, обслуживающих коммуникативную функцию предложения (т.е. проекта):

(11) а. Предлагаю купить новую батарею.
б. Мы могли бы купить новую батарею.
в. Не купить нам новую батарею?
г. Купить новую батарею, что ли?

д. Разве купить новую батарею?
е. Что если купить новую батарею?

Последующий шаг – поиск возможных эквивалентов данных форм высказывания в другом языке.

25. Анализ второго типа ("от формы к функции") можно показать на примере чешских конструкций с частицей *že:*

а) конструкции с интонационным центром на частице *že* и с нисходящей интонацией выражают высокую степень уверенности говорящего в содержании его высказывания. Напр.:

(12) а. Že se ti to líbí?
б. Тебе правда это нравится?

б) в противоположность предшествующему типу, конструкция с интонационным центром не на частице *že,* а в конце (и с антикаденцией) выражает неуверенность, сомнение, колебание говорящего. Напр.:

(13) а. Že by odešel?
б. Он ушел, что ли?[1]

26. Сопоставительный анализ взаимоотношений коммуникативных функций и соответствующих им форм высказывания находится пока в самом начале, так как лишь количество релевантных лексических конституэнтов (частиц) в каждом из сопоставляемых языков превышает 300. Однако нам кажется, что мы имеем дело с перспективным вариантом сопоставительного описания языков.

ЛИТЕРАТУРА

Адамец, П. 1966, *Порядок слов в современном русском языке.* Praha: UK.
Бондарко, А.В. 1984, *Функциональная грамматика.* Ленинград: Наука.
Горалек, К. (ред.) 1979, *Русская грамматика 1, 2.* Praha: Academia.

[1] Более подробно см.: Karlík 1979, Žaža 1993.

Горшкова, К.В. - Петрухина, Е.В. (ред.) 1986, *Вопросы изучения русского языка в сопоставлении с другими славянскими языками.* Москва: МГУ.

Золотова, Г.А. 1982, *Коммуникативные аспекты русского синтаксиса.* Москва: Наука.

Йирачек, Й. 1971, *Интернациональные суффиксы существительных в современном русском языке.* Brno: UJEP.

Конюшкевич, М.И. 1989, *Синтаксис близкородственных языков.* Минск: Университет.

Кубик, М. (ред.) 1982, *Русский синтаксис в сопоставлении с чешским.* Praha: SPN.

Кубик, М. - Кондрашов, Н.А. 1977, *Русский язык глазами лингвиста-слависта.* Praha: SPN.

Мразек, Р. 1964, *Синтаксис русского творительного.* Praha: SPN.

Мразек, Р. 1990, *Сравнительный синтаксис славянских литературных языков.* Brno: UJEP.

Пете, И. 1991, *Синтаксис русского языка для венгерских студентов-русистов.* Budapest: Tankönyvkiadó.

Светлик, Я. 1979, *Синтаксис русского языка в сопоставлении с словацким.* 3-е изд. Bratislava: SPN.

Шведова, Н.Ю. - Лопатин, В.В. (ред.) 1990, *Русская грамматика 1, 2.* Москва: Русский язык.

Adamec, P. 1980, K vyjadřování referenční určenosti v češtině a v ruštině. *Slovo a slovesnost* 41, 257-264.

Barnet, V. 1983, K problému ekvivalence při lingvistickém srovnávání. In: Konstantinova, T.I. - Širokova, A.G. - Zatovkaňuk, M. - Hrabě, V. (red.) *Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby 2.* Praha: UK, 7-26.

Bauer, J. - Mrázek, R. - Žaža, S. 1979, *Příruční mluvnice ruštiny 2.* 3-e изд. Praha: SPN.

Běličová, H. 1983, *Modální báze jednoduché věty a souvětí.* Praha: ÚJČ ČSAV.

Daneš, F. 1985, *Věta a text.* Praha: Academia.

Grepl, M. - Karlík, P. 1988, *Skladba spisovné češtiny.* 2-e изд. Praha: SPN.

Chlupáčová, K. 1974, K charakteristice pojmenování v ruštině. In: Konstantinova, T.I. - Širokova, A.G. - Zatovkaňuk, M. - Hrabě, V. (red.) *Konfrontační studium ruské a české gramatiky a slovní zásoby 1.* Praha: UK, 199-208.

Chvany, C.V. 1975, *On the syntax of BE-sentences in Russian.* Cambridge, Mass: Slavica.

Jiráček, J. 1986, *Morfologie ruského jazyka 1: Substantivum.* Praha: SPN.

Karlík, P. 1979, Tzv. *že*-výpovědi a jejich funkce. *Slovo a slovesnost* 40, 5-10.

Mrázek, R. 1973, Funkční distribuce *habere* a *esse* v slovanské větě. In: *Československé přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě.* Praha: Academia.

Petr, J. (red.) 1986-1987, *Mluvnice češtiny 1-3.* Praha: Academia.

Sternemann, R. (Leitg.) 1983, *Einführung in die kontrastive Linguistik.* Leipzig: Russistische Studien.

Žaža, S. 1991, K diferencím ve složení ruské a české slovní zásoby. *Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity* A 39. Brno, 49-56.

Žaža, S. 1993, Význam souhry gramatických, lexikálních a fonických prostředků pro vztah komunikativní funkce a výpovědní formy. *Slavia* 62, 285-289.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 39-47.

УПОТРЕБА ГЛАГОЛСКИХ ОБЛИКА У НАРАТИВНОЈ ПРОЗИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ[1]

Јован Јерковић

(Југославија, 21000 Нови Сад, ул. Антона Чехова 2.)

1. Сваки, па и најужи, осврт на језички поступак великог писца, у чије редове неоспорно спада и Милош Црњански, има пуно оправдање. Класични писци једног језика дају печат језичком изразу своје епохе, имају следбенике и врло широк круг читалаца.

Својим делом М. Црњански показује ширину интересовања и разноврсну жанровску разуђеност: песник, романописац, мемоариста, писац драма, есејиста, критичар, историчар, путописац, новинар..., што истраживачу намеће деликатан и сложен задатак и обавезно усмеравање на само одређене појединости његовог стваралаштва.

Лингвостилистички приступ, за који смо се определили овога пута, подразумева проучавање експресивних функција одређених језичких средстава, односно стилистичких варијаната у оквиру омеђеног литерарног корпуса. Тако ће нам инвентар језичких елемената за које смо се одлучили послужити да сагледамо *избор* који је вршио писац и оценимо његову експресивну функцију.

Да би се стекао објективан (егзактан) суд о датим својствима језика и стила Милоша Црњанског, пошли смо од *Сеоба*[2], једног од најзначајнијих и најчитанијих његових дела. Резултате анализе поредићемо на приближно истој количини текста друга два дела[3], која

---

[1] Рад је у нешто ужој верзији саопштен на Научној конференцији одржаној поводом обележавања стогодишњице рођења Милоша Црњанског, Чонград, 20-21. октобра 1993. године.

[2] Милош Црњански, *Сербиа, Сеобе, Ламент над Београдом*, Библиотека "Српска књижевност у сто књига", Нови Сад - Београд, 1966 (задњи ред са стр. 19: "Кад подиже главу..." до краја 30. странице) - у даљем тексту: С.

[3] *Црњански о себи* (наведена књига у претходној напомени), стр. 270-280 - даље: Ц; Милош Црњански, *Роман о Лондону*, Нолит, Београд, 1971, стр. 20-30 - даље: Л. Одломак из *Сеоба* условио је да се определимо за трећу десетину страница и

такође у основи припадају наративној прози[4]; тако да, и поред разлика међу њима, изабрани одломци припадају истом жанру.

Збивања која се износе у наведеним одломцима временски припадају различитим епохама: радња *Сеоба* смештена је у средину XVIII века; одломак у коме писац износи историјат своје породице и део властитог живота временски нам је ближи; догађаји у *Роману о Лондону* смештени су у временске оквире Другог светског рата.

Улога језика у конституисању текста, и у структурном и у значењском погледу, веома је значајна. Проблем је сложен и може му се прићи из различитих углова. Ово је један од могућих. С друге стране, пишчев поступак може да буде у зависности и од тематике дела, али се не сме пренебрећи ни могућност да писац свој израз мења и временом, без обзира на врсту дела. У избору одломака водило се рачуна о свим наведеним факторима[5].

2. Архаизација је битан елеменат у језику дела с историјском садржином. Она се, као што је познато, врши веома различито. Немамо намеру да анализирамо разноврсне поступке, као и њихову примену у делима различитих аутора. Прихватили бисмо становиште да је један од најчешће примењиваних начина, па с тога вероватно и најцелисходнији, онај који у довољној мери преноси колорит далеке епохе остајући у исто време близак савременом читаоцу. Читалац ће тако странице дела доживљавати и као забелешке савременог сведока догађаја, и, с друге стране, неће наилазити на проблеме (језичке пре свега) који би изискивали посебну ангажованост у поимању дела.

Друкчија архаизација скривала би у себи опасност да штиво буде непремостива препрека за савременог читаоца (читаоце наредних генерација), или би, пак, захтевала да аутор (или издавач) уз

из дела која смо изабрали за поређење.

[4] У одломцима нема дијалога, осим двадесетак редова директно пренетих мисли личности *Романа о Лондону* (стр. 20–25). Овај одломак се, међутим, ни по чему не разликује од текста у чијем се окружењу нашао, те нисмо имали разлога да га издвојимо или посебно разматрамо.

[5] *Сеобе* су издате 1929. године; коментари уз *Итаку*, одакле је узет одломак *Црњански о себи*, 1959, а *Роман о Лондону* објављен је 1971. године.

текст даје многобројне напомене и објашњења, јер би га тек тако учинио довољно разумљивим и читљивим.

Већ на основу површног увида у језички поступак примењиван у *Сеобама* стиче се утисак да је основно средство архаизације употреба глаголских облика у овом делу. Посебно оних који се користе у нарацији. Задржавање на глаголима има још једно своје оправдање: глагол у реченици М. Црњанског заузима централно место. Око њега се нижу и блокови речи, обично интонационо осамостаљени (честа употреба запете), па тако и ове целине посебно истичу улогу и значај глаголских речи у тексту.

3. *Табеларни преглед употребљених глаголских облика*

глаголски облик	С		Ц		Л	
презент	110	21,95%	81	20,35%	172	40,66%
перфекат	203	40,51%	263	66,08%	185	43,73%
аорист	71	14,17%	4	0,10%	4	0,94%
имперфекат	14	2,79%	∅	0%	1	0,23%
плусквамперфекат	27	5,38%	34	8,54%	21	4,26%
футур I	4	0,79%	5	1,25%	5	1,17%
футур II	∅	0%	1	0,25%	∅	0%
потенцијал	7	1,39%	5	1,25%	24	5,67%
императив	∅	0%	∅	0%	3	0,70%
инфинитив	7	1,39%	4	1,00%	8	1,88%
глаг. прилог садашњи	41	8,18%	∅	0%	∅	0%
глаг. прилог прошли	17	3,39%	1	0,25%	∅	0%
свега	501	99,94%	398	99,07%	423	99,96%

4. Анализа употребе глагола у наративној прози изискује посебан осврт на облике којима се казује прошлост (перфекат, аорист,

имперфекат, плусквамперфекат, као и остале којима се могу изнети прошле радње) јер ће показати како је писац по својој унутрашњој логици и свесно бирао од расположивих средстава која су му се нудила она којима ће постићи максимално изражајне ефексте.

С обзиром да се облици плусквамперфекта јављају у приближно подједнаком односу у сва три извора, прве разлике се уочавају у троуглу *перфекат - аорист - имперфекат*. Знатно ређа употреба перфекта у С (64,44% свих облика претерита) фаворизовала је чешћу појаву аориста (22,53%)[6] и ређу употребу имперфекта (4,44%), која је опет у односу на изворе Ц и Л врло висока (4,44 : 0 : 0,47).

Дакле, основно средство за нарацију у сва три одломка јесте перфекат. Овај глаголски облик превасходно означава акције које су се (из)вршиле пре времена када говорник о њима саопштава. Перфекат је, међутим, у односу на могућности које се нуде најмање обележена форма.

"Крњи перфекат", којим се постиже динамичност у излагању, јавља се релативно ретко: по десетак примера у сваком извору.

Изнете знатне разлике у употреби аориста и имперфекта у нашим изворима треба тражити у својствима које их карактеришу: "Динамичност радње као реалност доживљава се или као радња непосредно пред очима (садашњост) или кад је радња тек завршена, па сасвим присутна у свести или, кад се говорно лице тако пренесе у преживљени догађај о коме прича да га саопштава у непосредном облику доживљене стварности. Свест о *протеклом* догађају чија је *жива динамика* још за говорника непосредно присутна обележава се аористом; оживљавање процеса у прошлости у својој *некадашњој његовој актуелности* - имперфектом" (Ивић, М. 1958: 143).

Будући да се аористом износи непосредан доживљај радње, он је стилски обележен према неутралном перфекту. Другим речима, текст с наглашеном употребом аориста карактерише живост и доживљеност излагања, бржи ритам казивања; ови облици уносе и

---

[6] Резултати које износимо за употребу презента и аориста морају се прихватити са одређеном резервом због тога што су често облички изједначени 3. л. јд. презента и 3. л. јд. аориста. За овако постављену анализу одређени проценат 'грешака' не може бити од пресудног значаја за закључке које ћемо касније извести.

драж необичности и архаичан призвук. Зато би, када је у питању текст М. Црњанског, уопште било тешко размишљати у правцу да се неки облици аориста могу замењивати перфектом или презентом јер овака замена не би била адекватна, тј. не би се добиле контекстуално исте вредности[7].

Сви облици аориста које смо забележили грађени су од свршених глагола. Дакле, изостају форме од несвршених глагола, које су употребљавали Вук Караџић и поједини српски писци у прошлом веку (Стевановић 1969: 617–619).

Све изнесено фаворизовало је у одређеној мери упадљиво присуство аориста у С; у друга два извора нису постојали разлози за његову чешћу употребу.

Иста напомена вредела би и за употребу имперфекта, форме која је практично нестала у савременом стандардном језику[8].

У творби плусквамперфекта преовлађују форме Сор (перфекат) + V (л-партицип): С (21), Ц (33), Л (24); решење са Сор (имперфекат) + V (л-партицип) нешто је чешће у С (6), где је појава имперфекта наглашенија; у Ц је забележен само један овакав случај док их у Л нема. Према очекивању преовлађују глаголи свршеног вида; нађен је само по један пример у сваком извору глагола несвршеног вида у овој сложеној глаголској форми (Стевановић 1969: 640).

Када се има на уму нарација, одмах се помишља и на презентске облике. И честа употреба презента у текстовима ове врсте објашњава се његовим својствима (Ивић, М. 1958: 141–142): "Као лични глаголски облик презент носи у себи представу о конкретизацији радње, о живом процесу." И даље: "... свака ситуација акције у којој се презент јавља представљена и живо, динамички. Отуда и посебна улога презента у емоционалној нарацији где се тежи за максималним ефектом непосредног доживљаја стварности." Или: "Његова (облика презента, Ј. Ј.) је улога, изван садашњости, да живо евоцира радњу, да дочара њену стварност."

---

[7] Исп. тврдњу Кр. Прањића (1966: 88) по коме би се одређени број аориста у језику А. Г. Матоша могао заменити перфектом или презентом "без веће штете по доживљајни дојам читавог текста".

[8] О његовој реткој, готово изузетној, употреби у савременом језику исп. Стевановић 1969: 628, као и Ивић, М. 1958.

У сагледању употребе презентских облика у изношењу прошлих догађаја битно је уочити односе који проистичу из глаголског вида. Свршени глаголски вид преовлађује у С (74 : 36)[9], док су облици несвршених глагола двоструко чешћи у (27 : 54), а у Л овај однос је још израженији у корист несвршених глагола (27 : 145)[10].

И облици потенцијала употребљени су да означе прошле радње, и то по правилу оне које су се понављале, што је у складу с вредностима у стандардном језику. Пада у очи да се овај сложени начински облик у Л јавља три односно четири пута чешће него у С и Ц. Транспозиција модалности у темпоралност чини приповедање импресивнијим.

Бројчани односи употребе изнесених глаголских облика у два извора (С и Л) неоспорно казују да је писац проналазио средства која језик дела чине експресивним. Ово се, с обзиром на заједничка својства изабраних одломака, најбоље огледа у коришћењу глаголских облика за исказивање прошлости. У оба извора перфекат је забележен у приближно истом односу, а разлике се испољавају у употреби презента (С - 21,95% : Л - 40,56%), односно облика аориста и имперфекта (оба облика се у С јављају 16,96% а у Л само 1,18%). Наглашенија употреба облика који нису својствени савременом стандарду (исп. Ивић, М. 1958, Стевановић 1969: 607-640) дају тексту архаичнији тон[11]. У Ц преовлађује перфекат (65,58% свих глаголских облика), што одговара објективном изношењу чињеница, односно смиренијем тону и ритму приповедања.

На крају овог прегледа мислимо да је вредно истаћи и следећи суд. У 'градацији' значења истог глагола "с обзиром на конкрети-

---

[9] Прву бројку треба примити с резервом пошто облици 3. л. јд. могу бити хомографи с аористом (исп. и нап. 6).

[10] Нпр. у *Бајци* Добрице Чосића у нарацији је далеко најфреквентнији презент несвршених глагола (исп. Радовановић 1990).

[11] У језику Доситеја Обрадовића аорист, имперфекат и наративни презент веома су чести (Куна 1970: 203-204); у језику Милована Видаковића аорист је "жива категорија", а имперфекат "чест" облик (Кашић 1968: 129-131). Облици аориста и имперфекта поново се срећу у језику српских писаца друге половине XIX века; тумаче се угледањем на језик Вука Караџића и Ђуре Даничића али и на језик престижне фолклорне књижевности (исп. моје радове: Јерковић 1979, 1981, 1988).

зацију радње, ограниченост по трајању, динамичност и доживљеност" Злата Богдан истиче овај редослед: "... перфекат, перфекат$_2$ (без помоћног глагола), наративни презент, аорист несвршених глагола, аорист свршених глагола" (Богдан 1977: 26–27).

Остали лични глаголски облици нису карактеристични за језик одломака које смо анализирали. Тако се футур I, футур II и императив јављају сасвим ретко или потпуно изостају, што је пре свега условљено наративним стилом.

Црњанском су могућности да се наведеним облицима искажу и прошле радње[12], будући да их није имао у свом језичком арсеналу, морале деловати као уски регионализми и екстреми те их није користио за архаизацију текста.

Од безличних глаголских облика инфинитив се ретко среће у сва три извора. Очекивало се, међутим, да ће се он користити у архаизацији текста (посебно у С)[13]. Ниска фреквенција инфинитива сврстава Црњанског у круг представника тзв. 'београдског стила'[14].

Велике су разлике, међутим, евидентне у употреби глаголских прилога: у С су упадљиво често заступљени (глаг. прилог садашњи 41 пут = 8,18% употребљених глаголских облика и глаг. прилог прошли 17 пута = 3,39%). У друга два текста ови облици практично изостају (забележен је само један пример глаг. прилога прошлог у Ц).

---

[12] Футуром I могу се означавати и радње које су се вршиле у прошлости по неком обичају, навици, склоности, тј. да изражавају квалификативност (Стевановић 1969: 648); футур II такође се јавља "у функцији претеритивних времена" (Стевановић 1969: 674–675); за императив се истиче и следеће: "Овај облик у служби за означавање прошлих радњи како нам и наведени примери говоре, био је чешћи код нешто старијих писаца, али га срећемо у приповедању и код новијих" (Стевановић 1969: 683).

[13] У језику старијих писаца, све до пред крај прошлог века, била је обична употреба инфинитива као допуне глагола и израза с непотпуним значењем; уз глаголе кретања у функцији намерне реченице или "датива с инфинитивом"; сретала се и употреба "историјског" инфинитива, мада се она првенствено везује за западно подручје српскохрватског језика (исп. Белић 1951: 170–173, Ивић, М. 1972, Јерковић 1972: 263–264, 273–274, као и литературу која се наводи).

[14] Исп. констатацију П. Ивића (1967: 224): "Дубок продор конструкције *да + презент* као супституга инфинитива у наш језик пада у раздобље после Вука. На будућим истраживањима остаје да утврде у коликој је мери ово везано за размештање културног центра Срба у Београд у другој половини XIX века."

Глаголски прилози представљају својеврсно средство за синтетизовање исказа јер се по правилу трансформишу у реченицу с финитним глаголским обликом. Употреба глаголских прилога, дакле, условљена је језичком економиком јер се постиже сажетост израза и упечатљивост у излагању. По нашој оцени у С доприноси и архаизацији текста (Суботић 1984, Ивић, М. 1983).

5. Посебну пажњу требало би даље посветити и ширем контексту, тј. уочавати дистрибуцију глаголских форми уз вођење рачуна и о глаголском аспекту. У нарацији 'низови' се могу образовати веома различито – употребом идентичних глаголских облика истог глаголског аспекта, али и разноврсним комбинацијама расположивих средстава. Гомилање истих глаголских облика обично треба да појача утисак, као што то могу да чине и случајеви када се низ (низови) прекидају другим глаголским формама. Све ово може да истакне динамичност и доживљеност радње, да појача ритам казивања или унесе драж патетике, неуобичајености, архаичности, или, пак, да казивање 'смири' и учини га неутралним. Дело М. Црњанског пружа обиље примера адекватног коришћења свих ових могућности.

Примећено је да у *Сеобама* нема неутралног приповедања него се догађаји и личности преламају кроз призму савремених збивања. Из нашег угла то је разуђена реченица у којој је наглашена употреба експресивних глаголских облика (аорист, презент, уз честу појаву имперфекта), што тексту даје и призвук архаичности; овом утиску доприноси и учестала употреба глаголских прилога.

У *Роману о Лондону* експресивност се постиже пре свега наглашенијом употребом презентских облика у изношењу прошлих догађаја.

У одломку *Црњански о себи* изразита предност дата је немаркираним облицима перфекта, што тексту даје смирен и објективан тон.

И овај уско усмерени увид у дела различите садржине казује да се од текста до текста видно мења њихова граматичка структура. Међутим, језик Милоша Црњанског наставља традицију српске књижевности XIX и XX века, заправо следи пут већине писаца који се у основи држе књижевнојезичке норме а свој властити израз граде својеврсном комбинацијом средстава која не излазе из њених оквира. На основу анализе коју смо вршили М. Црњански у сва три

одломка то ради веома успешно: избор језичких средстава и њихова употреба дубоко су мотивисани.

Указивањем на специфичну улогу глаголских облика у три различита одломка наративне прозе М. Црњанског желели смо да скренемо пажњу и преводиоцима дела овог писца, посебно у случајевима превода на језик (језике) чија се морфолошка средства знатније разликују од инвентара глагола српског језика.

ЛИТЕРАТУРА

Белић, А. 1951, *Историја српскохрватског језика, књ. II, св. 2: Речи са конјугацијом.* Београд.

Богдан, З. 1977, *Аорист у романима Мирка Божића.* Хрватско филолошко друштво, Загреб.

Ивић, М. 1958, Систем личних глаголских облика за обележавање времена у српскохрватском језику. *Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду,* књ. III. Нови Сад, 139-152.

Ивић, М. 1972, Проблематика српскохрватског инфинитива. *Зборник за филологију и лингвистику* XV/2. Нови Сад, 115-139.

Ивић, М. 1983, О српскохрватским герундима. У књ.: *Лингвистички огледи.* Београд, 155-179.

Ивић, П. 1967, Александар Младеновић, О народном језику Јована Рајића. *Зборник за филологију и лингвистику* X. Нови Сад, 207-227.

Јерковић, Ј. 1972, *Језик Јакова Игњатовића.* Нови Сад.

Јерковић, Ј. 1979, Осврт на развој екавске верзије књижевног језика у другој половини прошлог столећа. *Југословенски семинар за стране слависте* XXX. Београд, 60-71.

Јерковић, Ј. 1981, Неке особине језика народних умотворина у делима војвођанских писаца друге половине XIX века. *Научни састанак слависта у Вукове дане* 10/1. Београд, 46-61.

Јерковић, Ј. 1988, Дијалектизми 'секундарног' порекла у језику војвођанских писаца. *Научни састанак слависта у Вукове дане* 17/2. Београд, 329-339.

Кашић, Ј. 1968, *Језик Милована Видаковића.* Нови Сад.

Куна, Х. 1970, *Језичке карактеристике дјела Доситеја Обрадовића.* Сарајево.

Прањић, Кр. 1966, *Језик и стил приповједачке прозе А.Г. Матоша.* Загреб. Докторска дисертација - рукопис.

Радовановић, М. 1990, О "наративним" глаголским облицима. У књ.: *Списи из синтаксе и семантике.* Нови Сад, 167-176.

Стевановић, М. 1969, *Савремени српскохрватски језик II: Синтакса.* Београд.

Суботић, Љ. 1984, Судбина партиципа у књижевном језику код Срба у 19. веку. *Прилози проучавању језика,* књ. 20. Нови Сад, 5-81.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 49-57.

ТРЕТЬЕ ЮЖНОСЛАВЯНСКОЕ ВЛИЯНИЕ В МОСКОВСКОЙ РУСИ И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОРУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Алеш Бранднер

(Aleš Brandner, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Arna Nováka 1, 660 88, Brno, ČR)

1. Языковая ситуация на вост.-слав. территории с XI по XVIII в.

Третье южнославянское влияние представляет собой один из важнейших пределов истории русского литературного языка. Языковая ситуация на вост.-слав. территории была весьма сложная. Ее сложность состояла в том, что вплоть до XVIII в. там сосуществовали два языка: наряду с домашним русским языком это был язык церковнославянский, который выполнял не только функцию богослужебного (литургического) языка, но до XVIII в. также функцию языка письменного (Ефимов 1957: 41–45, Виноградов 1958: 111, Горшков 1969: 38–44, Улуханов 1972: 12–21, Bartoszewicz 1973: 30–35, Mrázek–Popova 1988: 8–9, 113–115). Взаимоотношения обоих языков были построены по модели диглоссии: каждый язык имел свою сферу употребления и нельзя было это заменять. Вместе с тем в истории рус. лит. языка имело место также и церковнославянско-русское двуязычие. Развитие рус. лит. языка связано с переходом от диглоссии к двуязычию. Распад двуязычия привел к становлению русского литературного языка нового типа.

На основании этих фактов современный московский русист, профессор Московского государственного университета Б.А. Успенский (1988: 25) определил кардинальное значение понятия языковой ситуации для периодизации истории рус. лит. языка. Он выделил три основных периода: 1. период диглоссии (XI–XVII вв.), 2. переходный период церковнославянско-русского двуязычия и становление языка нового типа (вторая половина XVIII в. по начало XIX в.), 3. стабилизация нового русского литературного языка (с начала XIX в. по настоящее время). Первый период распадается на три основных этапа, связанные с тремя последовательными культурны-

ми влияниями. В литературе они обозначаются условно как "южнославянские".

2. Сформирование русской редакции церковнославянского языка как итог первого южнославянского влияния

О первом южнославянском влиянии говорится в связи с принятием христианства в X в. Восточные славяне приняли христианство из Византии. Это выступило как совершенно определенный политический акт, который ввел Русь в сферу византийского мира. Крещение Руси означало для Византии расширение сферы культурного и одновременно политического влияния. Посредником в русско-византийских культурных контактах были южные славяне. Они играли посредническую роль: ориентация была греческой, письменность болгарской. Предпосылки к такой эллинизации были заложены в совместном проживании греков и славян на Балканах. С принятием христианства в качестве государственной религии ц.-сл. язык стал литературным языком. Это создало предпосылки для его функционирования в качестве литературного языка восточных славян. На вост.-слав. территории возникла церковнославянско-русская диглоссия. Ц.-сл. язык выступал на Руси как средство византизации рус. культуры. Вообще он был общим языком православного славянства.

В Киевской Руси при князе Владимире были основаны школы. Учащиеся в них изучали прежде всего ц.-сл. язык. На занятиях употреблялись в то время богослужебные книги, которые были именно в это время в распоряжении. Это были книги юж.-слав. происхождения, так что можно говорить о периоде юж.-слав. влияния (в данном случае первого южнославянского влияния). С этим периодом связано начало формирования литературного языка у восточных славян (Успенский 1983).

Ориентация на южных славян прекратилась к началу XII в.; русские рукописи перестали испытывать влияние южнославянских протографов. Сложился русский извод ц.-сл. языка, а специфические юж.-слав. черты стали подвергаться правке. Таким образом, итогом первого юж.-сл. влияния, которое обхватывало период с XI по XIV в., является сформирование рус. редакции ц.-сл. языка. Он усвоил целый ряд черт вост.-слав. происхождения, т.е. русифицировался.

3. Распад единой общерусской нормы церковнославянского языка в силу второго южнославянского влияния

Второе южнославянское влияние имело место с конца XIV в. и в течение XV в. Его значение заключалось именно в начале последовательной справы книг на Руси. Так как ц.-сл. язык пришел на Русь от южных славян, специфические юж.-сл. черты воспринимались на Руси как архаические. У южных славян были постоянно живые контакты с греками, у них постоянно осуществлялись переводы с греческого на церковнославянский и это накладывало отпечаток на характер юж.-сл. извода ц.-сл. языка. Иными словами, второе юж.-сл. влияние представляло архаизацию и эллинизацию. Оно совпадало с размежеванием культурных традиций Московской и Юго-Западной Руси: в Юго-Западной Руси продолжалось общение с южными славянами и греками, в Московской Руси в XVI в. наблюдалась тенденция к культурному обособлению. После второго юж.-сл. влияния общерусская ц.-сл. норма распалась на две: ц.-сл. язык Московской Руси и ц.-сл. язык Юго-Западной Руси.

Второе юж.-сл. влияние способствовало переходу церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие. В Московской Руси по-прежнему имела место ситуация церковнославянско-русской диглоссии. В Юго-Западной Руси, наоборот, проявлялось церковнославянско-русское двуязычие. Иными словами, в то время, как в Московской Руси функционировал один литературный язык (т.е. ц.-сл. язык русской редакции), в Юго-Западной Руси сосуществовали два литературных языка: наряду с ц.-сл. языком юго-западной редакции выступал т. наз. "простой" книжный язык или т. наз. "проста или руска мова". В ее основе лежал канцелярский язык Юго-Западной Руси. Этот язык терял постепенно функции делового языка, стал литературным языком в широком смысле. Он занимал как бы промежуточное место между высоким книжным языком (т.е. языком церковнославянским) и языком разговорным.

Церковнославянско-русское двуязычие в Юго-Западной Руси калькировало латинско-польское двуязычие в Польше; функциональным эквивалентом латыни выступал там ц.-сл. язык, а функциональным эквивалентом польского литературного языка – "проста мова". Ц.-сл. язык стал языком ученого сословия. Если на Западе

образованность предполагала знание латыни, то в Юго-Западной Руси образованность предполагала знание ц.-сл. языка. Напротив, польский язык и коррелирующая с ним "проста мова" выступали в значительной мере как язык шляхты (Успенский 1988: 310–311).

"Проста мова" не имела никаких связей с современным украинским и белорусским языками. В дальнейшем почти бесследно исчезла. Функционирование "простой мовы" свидетельствовало о ситуации двуязычия. Она занимала не только равноправное положение с ц.-сл. языком, но и постепенно вытесняла его из литературы.

4. Третье южнославянское влияние в Московской Руси и стремление к восстановлению единого извода ц.-сл. языка

"Проста мова" не оказала почти никакого влияния на современные украинский и белорусский языки. Однако на историю рус. лит. языка она оказала весьма существенное влияние. Эта тенденция связана с т. наз. "третьим юж.-сл. влиянием", т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на великорусскую книжную традицию в XVII в.

Третье южнославянское влияние – термин в известной мере условный, поскольку само название "южнославянское" имеет в виду южных славян не в этническом, а в географическом смысле. Таким образом, если в случае первых двух южнославянских влияний речь шла о влиянии балканских славян, в данном случае речь идет о влиянии представителей Юго-Западной Руси. Это влияние обусловлено стремлением к восстановлению единого ц.-сл. языка. Как и предыдущие влияния, оно определяется ориентацией на греческую культуру. Оно привело к новой волне эллинизации русской книжности, так как в Юго-Западной Руси поддерживались контакты с греками. Третье южнославянское влияние было обусловлено грекофильской ориентацией. Однако Юго-Западная Русь находилась под сильным западным влияниям и, соответственно, выступала не только как посредник в контактах с греческой культурой, но и как посредник в контактах с культурой западноевропейской (Успенский 1988: 335).

Третье юж.-сл. влияние проявилось прежде всего в книжных реформах патриарха Никона в середине XVII в. Таким образом, как

и второе юж.-сл. влияние, оно непосредственно связано с книжной справой.

В результате книжных реформ патриарха Никона и его последователей на территории Московской Руси мог кодифицироваться юго-западный вариант ц.-сл. языка, поэтому третье юж.-сл. влияние может рассматриваться как регенерация на великорусской территории второго юж.-сл. влияния: то, от чего в Московской Руси отказались, приходило вновь через соседнюю традицию.

После второго юж.-сл. влияния в Московской Руси, в отличие от Юго-Западной Руси, можно наблюдать тенденцию в виде культурной обособленности. Это был процесс, который, с одной стороны, происходил в связи с падением Византийской империи (1453), с другой стороны, с окончательным свержением татарского ига в России. В Византии ислам победил над православием, в России, наоборот, православие победило над исламом. В России была создана самостоятельная автокефальная церковь. Чтобы соблюдать традицию, что во главе православного мира стоит единый император, единственным православным правителем после падения Царьграда был московский князь, которого стали именовать царем. Московская Русь стала центром православного мира и Москву считали новым Царьградом или же третьим Римом. Процесс церковного обособления был завершен в 1589 г. учреждением патриаршества в России. Это обстоятельство подчеркивало религиозную и политическую самостоятельность Московской Руси.

Третье южнославянское влияние связано с щирокой иммиграцией в Москву юго-западнороссов, носителей книжной культуры. Эта иммиграция была непосредственно связана с присоединением Украины в 1654 г. Выходцы из Юго-Западной Руси играли большую роль в культурной жизни, они занимались книжной справой (Успенский 1988: 330–334).

Третье юж.-сл. влияние в языковом аспекте проявилось прежде всего в книжной справе. Она вызвала раскол общества, разделившегося на старообрядцев и новообрядцев. Следует подчеркнуть, что великорусская книжная культура, в свою очередь, оказала влияние на юго-западную. Установилась единая норма ц.-сл. языка, и, таким образом, постепенно исчез его специфический юго-западнорусский извод. Этому содействовало позже обстоятельство, когда в 1686 г.

киевская метрополия перешла в юрисдикцию московского патриарха (до этого киевский митрополит подчинялся патриарху константинопольскому). С образованием общерусского извода ц.-сл. языка старые языковые традиции сохранились в церковных общинах, которых не коснулись данные преобразования: если великорусская ц.-сл. традиция сохранилась у старообрядцев, то юго-западнорусская ц.-сл. традиция сохранилась у униатов (Plähn 1978: 23, Успенский 1988: 334–335).

Если второе юж.-сл. влияние связано одновременно со стремлением к эллинизации и к архаизации, то в эпоху третьего юж.-сл. влияния эти два стремления были разобщены: одна часть общества, а именно новообрядцы, стали сторонниками эллинизации, другая часть, т.е. старообрядцы, стали сторонниками архаизации. Начало раскола относится к 1653 году. Первой книгой, вызвавшей недовольство приверженцев старой традиции, была Псалтырь, вышедшая в свет 11 февраля 1653 (Успенский 1988: 340). За этим следовало исправление всех богослужебных книг.

5. Разрушение диглоссии и переход к двуязычию

С третьим юж.-сл. влиянием непосредственно связан процесс разрушения диглоссии. С начала XVII в. можно встречать единичные примеры, предвосхищающие переход к церковнославянско-русскому двуязычию. В рамках языковой ситуации Московской Руси первой половины XVII в. они должны рассматриваться как исключение. В результате третьего юж.-сл. влияния языковая ситуация Юго-Западной Руси перенеслась на великорусскую почву, и этот перенос коренным образом изменил все аспекты функционирования литературного языка: изменилось функционирование ц.-сл. языка, появились новые варианты литературного языка, основанные на разговорной речи, изменился характер взаимодействия книжного и некнижного языка (Виноградов 1938: 75). Ц.-сл. язык в великорусских условиях продолжал активно функционировать как основной язык культуры, в то время как в Юго-Западной Руси он был в значительной степени вытеснен "простой мовой". На ц.-сл. языке начали разговаривать, подобно тому, как это было принято в Юго-Западной Руси. Такое явление невозможно в ситуации диглоссии, но

естественно в ситуации двуязычия. Далее ц.-сл. язык предстал как язык ученого сословия, т.е. приобретал функции, свойственные латыни на Западе. На ц.-сл. языке начали писаться письма, что для предшествующего периода нехарактерно. На ц.-сл. языке могли в это время делать разнообразные записи бытового содержания. Процесс разрушения диглоссии был в Московской Руси непохожим на процесс разрушения диглоссии в Юго-Западной Руси. В Юго-Западной Руси этот процесс начался с появления "простого" языка, который стал конкурировать с ц.-сл. языком и практически вытеснил его в некоторых функциях, в Московской Руси этот же процесс начался с расширения функций ц.-сл. языка.

Если ц.-сл. язык юго-западной редакции непосредственно влиял на великорусский ц.-сл. язык, то непосредственное влияние "простой мовы" было невозможно в виду отсутствия парного эквивалентного явления в условиях Московской Руси. Однако заимствовалась языковая ситуация: само понятие "простого" языка, который понимался как литературный язык, противопоставленный ц.-сл. языку и с ним конкурирующий. "Простой" язык в качестве литературного противостоял не только церковнославянскому, но и разговорной речи.

С конца XVII в. на территории Московской Руси стали появляться произведения, написанные на простом языке. В XVIII в. такие произведения не представляли собой единичного явления. Сам факт функционирования "простого" языка имело исключительное значение для последующего развития рус. лит. языка. Он свидетельствует о превращении церковнославянско-русской диглоссии в церковнославянско-русское двуязычие. Третье юж.-сл. влияние привело к созданию "простого" языка, выступившего как великорусский эквивалент "простой" мовы.

6. Становление русского литературного языка нового типа

Ярким признаком церковнославянско-русского двуязычия была возможность перевода сакрального текста на иной общепонятный язык. Другим признаком было появление пародий на ц.-сл. языке. Если в первой половине XVII в. такие тексты имели уникальный характер, то со второй половины XVII в. они стали более или менее обычным явлением.

Ситуация двуязычия закономерно привела к кодификации рус. языка. Ее зачатки относятся к началу XVIII в. и имеют фрагментарный характер. Авторы стремились осознать и зафиксировать различия между ц.-сл. и рус. языком (Успенский 1985). Последовательная кодификация рус. языка осуществилась позднее, а именно в 1738–1740 гг., когда появилась грамматика Адодурова, первая грамматика русского языка, написанная на родном языке (Успенский 1975).

Так как двуязычие, в отличие от диглоссии, оказалось нестабильной языковой ситуацией – оба языка конкурировали друг с другом, а не распределяли свои функции – русский язык постепенно оттеснял ц.-сл. на периферию языкового сознания, узурпируя права и функции литературного языка и оставляя за ц.-сл. языком в конечном счете лишь функции языка литургического. Следствием указанного процесса было создание в середине XIX в. А.С. Пушкиным русского литературного языка нового типа – языка, в той или иной мере ориентированного на разговорную речь (Hüttl-Folter 1982: 9–11, 1992: 21; Живов 1990: 456–458). Этим событием был окончательно завершен период двуязычия.

ЛИТЕРАТУРА

Виноградов, В.В. 1938, *Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв.* Москва: Учпедгиз.

Виноградов, В.В. 1958, *Основные проблемы изучения образования и развития древнерусского литературного языка.* Москва: АН СССР.

Горшков, А.И. 1969, *История русского литературного языка.* Москва: Высшая школа.

Ефимов, А.И. 1954, *История русского литературного языка (курс лекций).* Москва: Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства просвещения РСФСР.

Живов, В.М. 1990, Языковая ситуация Петровской эпохи и возникновение русского литературного языка нового типа. *Wiener Slawistischer Almanach* 25/26, 451–469.

Улуханов, И.С. 1972, *О языке Древней Руси.* Москва: Наука.

Успенский, Б.А. 1975, *Первая русская грамматика на родном языке.* Москва: Наука.

Успенский, Б.А. 1983, *Языковая ситуация Киевской Руси и ее значение для истории русского литературного языка.* Москва: Издательство Московского университета.

Успенский, Б.А. 1985, *Из истории русского литературного языка XVIII - начала XIX века.* Москва: Издательство Московского университета.

Успенский, Б.А. 1988, *История русского литературного языка (XI-XVII вв.).* Budapest: Tankönyvkiadó.

Bartoszewicz, A. 1973, *История русского литературного языка. Часть 1-ая (донациональный период).* Warszawa: Panstwowe Wydawnictvo Naukowe.

Hüttl-Folter, G. 1982, Проблематика языкового наследия XVII в. в русском литературном языке нового времени (XVIII в.). *Wiener Slavistisches Jahrbuch* 28, 9-26.

Hüttl-Folter, G. 1992, Русский литературный язык нового типа (Инновация в синтаксисе 30-ых годов XVIII в.). *Wiener Slavistisches Jahrbuch* 38, 21-36.

Mrázek, R. - Popova, G.V. 1988, *Historický vývoj ruštiny (skriptum).* Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Plähn, J. 1978, *Der Gebrauch des modernen russischen Kirchenslavisch in der russischen Kirche. Mit zahlreichen Notenbeispielen und kirchenslavischen Texten.* Hamburg: Helmut Buske Verlag.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 59–68.

НЕМЕЦКО-ЧЕШСКО-ВЕНГЕРСКО-РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ

Йожеф Юхас

(Juhász József, H-1137 Budapest, Katona József u. 31. I. em. 1.)

1. Прежде всего хочу оговорить, в каком понимании я использую термин "параллель" при сопоставительном изучении фразеологических единиц (в дальнейшем – ФЕ) различных – родственных и неродственных – языков. О фразеологических параллелях я говорю в тех случаях, когда могу во фразеологическом материале двух или более языков продемонстрировать соответствие ФЕ при всевозможных их трактовках. Это соответствие в первую очередь означает то, что значение ФЕ, о которых идет речь, эквивалентно. Например, значения немецкой ФЕ *seine Haut zu Markte tragen,* чешской *nést/nosit svou kůži na trh* и венгерской *vásárra viszi a bőrét* полностью совпадают. Далее для этого соответствия необходимо, чтобы значения отдельных слов, образующих отмеченные ФЕ, также находились в отношениях эквивалентности: в данном случае значения немецкого глагола *tragen,* чешского *nést/nosit* и венгерского *visz* равным образом соответствуют значению русского глагола *носить.* То же самое можно сказать об эквивалентности значений и остальных слов. Третье условие – это возможно полное морфологическое и структурное соответствие исследуемых с точки зрения параллелизма ФЕ. Это последнее явление я называю конгруэнцией. Таким образом, если мы можем в одинаковой мере в отдельных ФЕ двух или более языков установить эту их двоякую семантическую эквивалентность, а далее на грамматическом уровне – конгруэнцию, тогда мы можем говорить о фразеологических параллелях в узком смысле этого слова во фразеологическом материале различных языков. Ниже я намереваюсь говорить именно о таких безупречных со всех трех точек зрения фразеологических параллелях в означенных языках. Общеизвестно, что фразеологам в многочисленных случаях приходится иметь дело только с приблизительно полными или толь-

ко частичными соответствиями. Исследование их не менее интересно и важно, чем исследование полных параллелей. Но поскольку ниже я анализирую такие чешские и венгерские ФЕ, которые являются кальками немецких, то я сосредоточиваю внимание на материале, находящемся в отношениях полного параллелизма, так как именно в этом случае можно с наибольшей достоверностью установить факт калькирования. Не стану возражать, что так называемые "полукальки" - как упоминают этот тип А.Л. Зеленецкий и Р.Ф. Монахов (1983) - тоже важны; все же ситуация такова, что часть полукалек может быть недостоверной с точки зрения их происхождения. Потому я рассматриваю лишь наиболее достоверные в этом отношении случаи, т.е. кальки, соответствующие требованиям полного параллелизма. Уступок не делается даже в случае малейшего лексического расхождения. Применение тройного критерия тоже далеко не полностью беспроблемно. Принимая во внимание характерные свойства отдельных языков, надо уметь гибко применять указанные требования. Это особенно часто затрагивает проблемы, относящиеся к морфологической и структурной конгруэнции, но в меньшей мере встречается и в ходе сопоставиления лексических соответствий. Общеизвестно, что управление эквивалентных слов в различных языках не всегда совпадает. На мой взгляд, это не может быть препятствием тому, чтобы мы могли установить в подобных случаях конгруэнцию. В других, например, случаях мнимую проблему создает расхождение в грамматическом числе. Известно, скажем, что в венгерском языке названия парных частей тела (руки, ноги, глаза, уши) употребляются в большинстве случаев в единственном числе, тогда как их немецкие, чешские, русские лексические соответствия выступают во множественном числе. Это свойство венгерского речевого употребления мы, очевидно, не можем трактовать как исключающую причину с точки зрения установления конгруэнции. Сравнительно малая частота префиксальных глаголов в немецком языке и их обилие в чешском, русском и венгерском языках тоже представляют такое явление, с которым следует считаться при сопоставлении. Еще одна из проблем - наличие артиклей в венгерском и немецком языках и их отсутствие в чешском и русском. Опыт показывает, что и грамматическое управление часто различается даже в

близкородственных языках. Естественно, еще больше это выявляется в отношениях неродственных языков. Я думаю, что мы поступим правильно, если в плане языковых сопоставлений будем трактовать эти специфические явления гибко.

2. В ходе моего ознакомления с чешской фразеологией я обнаружил, что в венгерском и чешском языках есть многочисленные фразеологические соответствия. К тому же они почти без исключения таковы, что их же соответствия хорошо известны и из немецкой фразеологии. Например: *den Nagel auf den Kopf treffen – trefit hřebík na hlavičku – fején találja a szeget; nicht wissen, wo einem der Kopf steht – nevědět, kde (mu) hlava stoí – nem tudja, hol áll a feje; etw. auf den Nagel hängen – pověsit něco na hřebík – szegre akaszt vmit; seine Haut zu Markte tragen – nést/nosit svou kůží na trh – vásárra viszi a bőrét; über j-m den Stab brechen – lámat/zlomit hůl nad někým – pálcát tör valaki felett* и т.д. Подобные примеры для ФЕ этого, т.е. глагольного, типа (как, впрочем, и для других типов тоже) можно было бы приводить сотни. Мне становилось все яснее, что речь идет о кальках. При этом я был уверен, что параллелей в таком количестве напрасно было бы искать в случае сопоставительного анализа, скажем, литовского, испанского и албанского фразеологического материала. В языках далеких географически и по культуре народов тоже могут сформироваться определенные ФЕ, подобные как по взгляду на действительность, так и в языковом плане. В этой связи интересные и разнообразные примеры встречаются в статье Ю.П. Сологуба (1982). Но число их и им подобных незначительно в соотношении к немецко-чешско-венгерскому общему фразеологическому материалу. С другой стороны, эти ФЕ в лучшем случае могут соответствовать упомянутому выше тройному требованию только в малом количестве. Из этого следует, что должна быть какая-то реальная причина того, что немецкий, чешский и венгерский языки дают в таком изобилии фразеологические параллели, указывающие на факт калькирования.

3. Носители всех трех языков, о которых идет речь, – немцы, венгры, чехи – жили на смежных территориях, находились друг с другом в исторически сложившихся контактах, в более или менее тесных политических, экономических и культурных связях. Доминирующим центром этой реальной общности, оформленной и на уров-

не государственности, была немецкая национальность, германство. В истории Венгрии и Чехии есть, как совершенно верно показывает в своей работе "Чешско-венгерские параллели" Р. Пражак (Pražák 1991), довольно много сходств и параллелей. Но сходство, естественно, не есть тождество. Властные домогательства Габсбургов больше воплотились в Чехии, нежели в Венгрии. Империя Габсбургов от начала XVII ст. распространила свою власть на Чехию, а в последующем низвела земли чехов и моравов до уровня наследственной провинции. Германизация чешских городов прогрессировала, влияние немецкоязычной части населения, а затем и распространившееся в кругу чехов в больших городах (особенно в Праге) двуязычие едва не поставило под угрозу существование самого чешского языка. Распространение немецкого языка (а с ним и его фразеологии) мощно шло не только письменным путем, но и в устном общении. О последнем свидетельствуют многочисленные чешские фразеологизмы, не носящие характер литературного языка, в которых есть немецкие лексические элементы: *eine **Extrawurst** wollen – chtít samé **exstraburšty**, mit j-m **halbpart** machen – jít na **holport**/do **holportu**, an der **Vorhand** sein – být na **forhontě**, **zugrunde** gehen – jít/přijít **cugrunt*** и т.д. От начала XIX в. чешское движение за обновление языка развернуло сильное противодействие в интересах очистки, развития и усиления позиций чешского языка, но немецкий пример и образец не могли отсутствовать даже и в этом движении. – В Венгрии до известной степени ситуация была похожей, но противостояние немецкому влиянию было более результативным, а двуязычие при этом не набрало такого размаха, как у чехов. Вместе с тем немецкое языковое и культурное воздействие также имело успех и в Венгрии, хотя и в меньшем размере. Очевидно, этим может объясняться то, что в венгерском языке мы встречаем в меньшем по сравнению с чешским языком числе фразеологические единства, возникшие путем перевода немецких ФЕ. Что касается венгерского движения за обновление языка, то его начало несколько опередило чешское. Впрочем, принципы чешского и венгерского обновления языка – очевидно, не независимо от взглядов Аделунга и других немецких представителей обновления языка – показывают высокую степень схожести.

4. Возникает также вопрос возможностей венгерского и чешского культурного языкового взаимовлияния. Было бы неправильным недооценивать тот интерес, который проявляли лучшие представители духовной жизни обоих народов к литературе и культуре друг друга. В то же время заметное прямое языковое взаимовоздействие вряд ли могло сформироваться: ведь в более широких кругах население не было знакомо с языками друг друга, о венгерско-чешском двуязычии в действительном смысле этого слова мы не можем говорить, так как эти два народа никогда не жили в этническом контакте. Хотя в общей армии, где командным языком был немецкий, служили вместе чехи и венгры, но проявление этого обстоятельства в языковом плане ограничивается немногочисленными курьезами. Если взять более высокие сферы духовной жизни, например литературу, то художественные произведения попадали к обоим народам в переводах. Значит, влияние немецкого языка на венгерский и чешский было параллельным процессом, в котором, естественно, можно обнаружить много сходств, но немецкое влияние по-отдельному коснулось венгерского и чешского языков. (Нередко встречаются такие случаи, в которых языковая оформленность ясно показывает, что венгерская ФЕ является непосредственным переводом из немецкого и что о чешском посредничестве не может быть и речи. Хороший пример этого случая – фразеологизм *die Zeit totschlagen – zabít čas – agyonüti az időt*. В немецком и венгерском вариантах глагольные префиксы (а по сути дела – первые члены сложных слов) семантически полностью соответствуют друг другу, в противоположность чему в случаях чешского *za | bít* или русского *у | бить* о семантической самостоятельности префиксов говорить нельзя. Если бы для венгерской ФЕ образцом стало чешское *zabít*, то наверняка теперь мы вместо глагола *agyonüt* 'бить до состояния размозжения' видели бы глагол *megöl* 'убить'.) Чехи в большей мере были подвержены немецкому влиянию. В области фразеологии об этом свидетельствует и то, что в чешском мы можем увидеть такие многочисленные фразеологические кальки, для которых нет венгерских эквивалентов. Продемонстрирую несколько примеров из этого материала: *sich an etw. gelegen sein lassen – nechat si na něčem záležet, etw. zum Besten geben – dát/dávat něco k dobru, j-n kurzhalten – držet ně-*

koho zkrátka/krátce, in die Jahre kommen – přijít/přicházet/jít do let, die Flinte ins Korn werfen – hodit flintu do žita, langeweile haben – mít dlouhou chvíli, j-n scharf anfahren – jít na někoho/něco z(v)ostra, überall Gespenster sehen – vidět všude duchy.

Теоретически не исключено, что некоторые из этих фразеологизмов являются на базе чешско-немецкого двуязычия не немецкими, а чешскими по происхождению, однако для такого вывода у меня нет никаких доказательств. Впрочем, выглядит невероятным, чтобы в условиях государственного перевеса германства языковое влияние могло развиваться в обратном направлении. Возвращаясь к венгерскочешским языковым отношениям в связи с одним характерным обстоятельством, отмечу, что мне встретилось достаточно таких фразеологизмов, которые согласуются в венгерском и чешском, но их предполагаемые общие образцы в немецком я не обнаружил ни в одном словаре. Вот некоторые из этих фразеологизмов: *fát hagy vágni a hátán – dát/nechat na sobě dříví štípat, egy kalap alá vesz vmiket – dostat všechno pod jeden klobouk, több van egy kerékkel vkinek – mít o kolečko víc, nem nagy lumen – nebýt žádný lumen, vaj van a fején vkinek – mít máslo na hlavě, a fejére szarik vkinek – srát někomu na hlavu, a plafonig ugrik – skákat (bolestí) až do stropu, ától zéig/cettig – znát něco od á (až) do zet.* Последний пример однозначно позволяет сделать вывод о его немецком происхождении, даже если в словарях и нет такого немецкого фразеологизма. В этой связи возникает вопрос о том, достаточно ли отражают немецкие словари австрийскую фразеологию. Я полагаю, что нет. Насколько я осведомлен от известного германиста-фразеолога Чабы Фёлдеша, в Австрии можно ознакомиться с большим собранным картотечным материалом австрийской немецкой фразеологии, однако его издание – дело будущего. А до тех пор мы не можем получить более полного ответа в связи с вышеприведенными фразеологизмами.

Хотя и коротко, но я должен бы сказать также о том обстоятельстве, которое некоторым образом может ставить под вопрос однозначность доминанции немецкого языка при трактовке фразеологических калек в чешском, венгерском и других языках. Ведь согласно словарям, немалая часть обсуждаемой фразеологии обнаруживается также во французском языке (естественно, в форме парал-

лельных соответствий). Этот факт дает основание задаться вопросом, не французская фразеология ли послужила образцом для создания немецких и венгерских параллелей. В случае чешского языка (со ссылкой на имевшее место стойкое и интенсивное влияние немецкого языка) в целом мы не можем считать вероятной возможность французского источника (даже если в отношении некоторых случаев и не исключать его). Что касается венгерского языка, то и здесь ситуация не выглядит существенно иной. Следовательно, в случае обоих языков намного более вероятно немецкое влияние. Следующий вопрос: какова ситуация в трактовке многочисленных элементов французского и немецкого фразеологического параллелизма? Ответ подсказывают исторические обстоятельства. Известно, что французская культура во время ее широкого развития однозначно опережала масштабное развитие немецкого просвещения, так что выглядит вероятным, что в отношениях этих двух языков доминировало влияние французской фразеологии. С процессом, имеющим обратное направление, считаться вряд ли возможно. Таким образом, в случае тех фразеологических образцов, кальки которых мы также можем наблюдать в чешском и, в несколько меньшем процентном соотношении, в венгерском языках, если при этом служащие образцом ФЕ наблюдаются также как во французском, так и в немецком языках, языком-посредником мог быть немецкий язык.

5. Немецкое языковое влияние, как мы знаем, не ограничивалось языками народов (чехов, венгров, хорватов, поляков), живших на территории монархии Габсбургов того времени. Развиваясь на восток, оно коснулось также и России, особенно в XIX в. (К. Флекштейн (1963) выделяет в первую очередь русские кальки немецких сложных слов: *Nordlicht – северное сияние, Mehrwert – прибавочная стоимость* и т.д., при этом автор особое внимание уделяет немецким существительным с начальной частью *Selbst-: Selbstgefühl – самочувствие, Selbstbewußtsein – самосознание* и т.д., отмечая, однако, что кальки другого типа, образованные на немецкой базе, также встречаются в языке русской публицистики XIX в.) Русская аристократия традиционно придерживалась французской ориентации, но набравшее в прошлом столетии больший размах промышленное развитие и расширение торговли повлекли за собой усиление контактов с не-

мецкой экономикой и культурой. В России XIX века заметно возросла и роль немецкого языка. Сравнительно мощным был этот процесс особенно в публицистике, но ощутим он также и в других сферах. Следовательно, мы с полным основанием можем предположить, что и в русском языке встретим такие ФЕ, которые в качестве калек можно возводить – прямо или косвенно – к немецким образцам. Также a priori мне с достаточной вероятностью представлялось и то, что русская фразеология не настолько насыщена немецкими по происхождению параллелями, как венгерская или чешская. Таким образом, в целях своего исследования я привлекал русский в качестве контрольного языка. При этом я хотел увидеть долю немецкого языкового влияния, с одной стороны, в той сфере, которая демонстрирует сильное германское влияние, с другой стороны – в языке страны, географически более отдаленной, а помимо того в своей ориентации не так однозначно связанной с германством. Результат, в сущности, получился соответственным исходной посылке, с той разницей, что количество соответствующих русских фразеологических параллелей оказалось несколько большим по сравнению с предполагавшимся. Прежде чем привести некоторые примеры, замечу, что если мы примем за 100% указывающие на немецкие образцы чешские фразеологические параллели, то доля венгерского материала уверенно составит 65-70%, а русского – примерно 30-35%. (Разумеется, относительно русского материала мы можем с большей вероятностью, чем по отношению к венгерскому и чешскому, полагать влияние французского языка. Но точно установить, какие это были конкретные случаи, в которых мы должны были бы считаться с французским языком, к сожалению, невозможно.) Приведенные числа, естественно, дают представление о соотношении в общих чертах. Соотношение же, выраженное в абсолютных числах, показать было бы трудно. Продемонстрирую несколько примеров немецко-чешско-венгерско-русских параллелей: *bei Wasser und Brot sitzen – být o chlebu a vodě – kenyéren és vízen (van, tartják) – сидеть на хлебе и воде, das Rad der Geschichte zurückdrehen – otočit kolo dějin zpět – visszaforgatja a történelem kerekét – повернуть колесо истории вспять, seine Stimme erheben – pozvednout hlas – felemeli a hangját – поднять свой голос, auf sich warten lassen – dát/nechát na sebe čekat – várat magá-*

ra – заставлять себя ждать, die Zeit totschlagen – ubít/zabít čas – agyonüti az időt – убивать время, sich an den Kopf greifen – chytat se za hlavu – a fejéhez kap – хвататься за голову, j-m die Tür weisen – ukázat někomu dveře – ajtót mutat vkinek – указать кому-н. на дверь.

В качестве отклонения от типичного встречаются случаи, когда наряду с немецким и чешским имеется русское соответствие, тогда как отсутствует венгерское: *Milch und Blut sein – být krev a mlíko – быть кровь с молоком.*

Подводя итоги, подчеркну: использование контрольного языка оказалось методически верным, поскольку показало себя результативным и полезным. Вместо русского языка, разумеется, можно было бы предположить в этой роли какой-либо более далекий во всех аспектах язык, но для этого у меня не было возможностей. Привлечение русского языка для исследования и так не было, по моему мнению, бесполезным, поскольку наглядно выявило, как снижается удельный вес языкового влияния по мере удаления от языка-источника. Формирование своеобразного круга языковых явлений, фразеологии на определенной территории, которую политические и государственные силы охватили в более или менее тесное единство, – это наглядно показывает направление и весомость распространения волн влияния в некотором определенном культурном круге. По-видимому, анализ лексического состава – терминологии различных профессиональных областей и прочего лексического материала – усилил бы, и вместе с тем больше бы оттенил и дополнил то, о чем также дает представление настоящая статья.

ЛИТЕРАТУРА

Зеленецкий, А.Л. – Монахов, П.Ф. 1983, *Сравнительная типология немецкого и русского языков.* Москва.

Молотков, А.И. 1967, *Фразеологический словарь русского языка.* Москва.

Сологуб, Ю.П. 1982, К вопросу о совпадении фразеологических оборотов в различных языках. *ВЯ* № 2, 106–114.

Федоров, А.В. – Кузнецова, Н.Н. – Морозова, Е.Н. – Цыганова, И.А. 1961, *Немецко-русские языковые параллели.* Москва.

Флекштейн, К. 1963, О кальках с немецкого в современном русском литературном языке. *Славянская филология,* вып. 5, 298-309.

Čermák, F. - Hronek, J. - Macháč, J. 1994, *Slovník české frazeologie a idiomatiky. Výrazy slovesné.* Praha: Akademie.

Földes, Cs. 1990, Zur Äquivalenz ungarischer und deutscher Phraseologismen. *Finnisch-Ugrische Forschungen* 49, 1-3. Helsinki.

Hüttl-Worth, G. 1956, *Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im 18. Jh.,* 70-72.

Pražák, R. 1991, *Cseh-magyar párhuzamok.* Budapest: Gondolat.

Перевод с венгерского Н.И. Зубова

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 69-85.

CULTURAL-HISTORICAL PRELIMINARIES TO THE FORMATION OF THE SLOVENIAN NATIONAL LITERARY LANGUAGE. PART I

Károly Gadányi

(Gadányi Károly, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szláv Filológiai Intézet
H-9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.)

1. The medieval scribal tradition and the enrichment of the Slovenian literary vocabulary in the nineteenth century

The oldest monument of Slovenian writing - the "Freising Fragments" ("Brižinski spomeniki") - dates to the tenth-eleventh centuries. The "Freising Fragments" confirm certain assumptions about the common language of the Slovenians at that time. The earliest example of Slovenian cultic language at our disposal, they contain numerous Church Slavonic elements which significantly distinguish its language from that of everyday speech. In addition to the three texts which comprise the "Freising Fragments," there are certain similar monuments of Old Slovenian writing of later vintage from various sites in Carinthia and Styria. The best known of these is the "Celovski Manuscript" (or "Rateški rokopis"), which dates from 1362-1390 and is written in the Gorenjsko dialect (with some features of the adjacent Elski dialect, a member of the Carinthian dialectical group: *ě* > *ę* - *dęlo; ō* > *ǫ* - *gospǫd; stj̑* > *š* - *krščanstvu; jast* - and other features). The "Stiški Manuscript," dated from 1428-1440, is written in the Dolenjsko dialect. Both of these manuscripts contain texts which are spiritual in content. The Venetian-Slovenian or "Čedadski Manuscript" ("Beneško-slovenski rokopis") of 1497 is an administrative-ecclesiastical text in the Terski dialect (of the Venetian dialectical group) interpolated in a Latin manuscript. This text displays the influence of the Čakavian dialect of Croatian. In the archives of the city of Kran there are a number of juridical texts and oaths which date from the second half of the fifteenth century.

The manuscript period in the history of written Slovenian is characterized by an utter absence of continuity, which is reflected in the

graphic formulation of these manuscripts as well. The written language of the church could not meet all the needs of Slovenian feudal society in the period of its most intensive development. On the one hand, the need arose for various types of juridical and commercial documents. On the other hand, excerpts of knightly and popular church song preserved in certain manuscripts indicate that troubador poetry – as an element of the so-called "Gothic" (lexical and syntactic) formation – was not alien to the Slovenian language at this time.

The development of religious literary genres proceeded even more intensively. Gradually two varieties of written language – ecclesiastical and secular – came into being among the Slovenes.

The introduction of Slovenian language book-printing in the mid-sixteenth century ushers in a new epoch in the history of the Slovenian culture and language. Primarily employing the Ljubljana dialect with an admixture of features from Gorenjsko and Dolenjsko (the two central dialects), Primož Trubar laid a foundation for the Slovenian literary-written language in his catechism, the first Slovenian book.[1]

The activities of Trubar and his collaborators in creating a Slovenian written language were highly fruitful. During the second half of the sixteenth century more than twenty books were printed in Slovenian. These include the first alphabet primers and a portion of the New Testament. This period also witnessed the appearance of the first grammatical and lexicographical descriptions of the Slovenian language – A. Bohorič's grammar, J. Dalmatin's lexical guide to the Slovenian translation of the Bible, and I. Megiser's German-Latin-Slovenian-Italian dictionary, among others.

This very important stage in the development of written Slovenian is also marked by an adaptation of Latin orthography which more effec-

---

[1] For a long time it was thought that the Slovenian language as spoken in Trubar's native village of Pashchitsa (which lies within the Dolenjsko dialectical zone) served as the basis for the language of the first printed texts in Slovenian. Scholars of Slovenian have recently begun to support the hypothesis advanced by J. Rigler (1968: 100–110), according to which the dialectical basis of the earliest printed literary monuments is that of Ljubljana, the administrative and cultural center of Slovenia, which is located on the border between the Gorenjsko and Dolenjsko dialectical zones.

tively renders the sound system of Slovenian than those earlier and limited attempts found in various texts written in Latin and German.

During this period the normative basis of the Slovenian language - still only partially codified in its grammar - comprised two variants of written language: Carinthian-Gorenjsko and Dolenjsko. Both were superimposed on the urban koine of Ljubljana.

2. Slovenian translations of the Bible as an ethnocultural determinant

Translations of the Bible into the native languages of the Slavs exerted a significant influence on the development of Slavic national-literary languages in the nineteenth century, particularly in the area of lexicon.

The first thing to strike the observant researcher is the near synchronic appearance of the first printed Bibles, in whole or in part, among the majority of the Slavic peoples. Without delving into the historical details, we will merely mention that the first translation of the Bible among the Southern Slavs was made in 1568 by the Protestants P. Trubar, J. Dalmatin, and A. Bohorič.

Slavistics has now provided us with sufficient proof that the Slovenian literary language was originally based on the Dolenjsko dialect. Trubar (1508–1586), the first Slovenian writer to occupy himself with language reform, was a native of the village of Raščic kod Velikih Lašča. He employed his native dialect as the linguistic basis for his literary works, into which he also introduced elements of the Ljubljana dialects, which, as in our own time, occupied the border area between the Dolenjsko and Gorenjsko dialects. P. Trubar's circle attracted like-minded writer-reformers whose native speech represented a variety of dialects natively. The Dolenians Juri Dalmatin (1547–1589) and Adam Bohorič (circa 1520 - circa 1600) had a sound command of the linguistic norm fixed in Trubar's texts. However, it is important to note that even at that time they realized that they were writing not only for Dolenians but for other Slovenes; for this reason they consciously introduced Gorenjsko elements into their works. Sebastian Krel (1538–1567), another well-known writer during the epoch of Slovenian Protestantism, was a native of Vipava who enriched the Slovenian written language with features of

the Notranjsko dialect. As an educated man with modern views on literature and language, Krel replaced many of Trubar's Germanisms with equivalent Slovenian words and expressions. In doing so he strengthened rather than undermined the achievements of Trubar with respect to the written language.

It is no exaggeration to state that the literary language of the Slovenian Protestants was codified in Dalmatin's translation of the Bible and in Bohorič's grammar (Articae Horulae) published in Wittenberg in 1584. For many years thereafter the language of the Slovenian Bible constituted the written norm for educated Slovenians, especially following the publication in 1613 of a lectionary entitled Evangelija inu listuvi.

The significance of Dalmatin's translation for the history of Slovenian reflects a phenomenon which is typical of the Slavic languages in general. In most cases, the first native-language translations of parts of the Bible among one or another of the Slavic peoples (which, as a rule, predated the advent of printing) appeared before or at the same time as the first attempts to normativize the Slavic literary language in question. Such was the case with the first complete Czech translation of the Bible, which dates to the time of the orthographic reforms undertaken by Jan Hus. In this sense, František Skorina's "Biblija ruska" and Ivan Fedorov's "Ostrozhskii Biblia" can be regarded as two models which prepared the ground for the emergence of three closely-related but independent literary languages - Russian, Ukrainian, and Byelorussian.

As a result of the practices employed in the first Slovenian translation of the Bible, it took on the status of an authoritative model for subsequent generations of Southern Slavic language reformers. Furthermore, we should not forget that among the Southern Slavs the first translation of the Scriptures on the basis of contemporaneous popular speech was carried out by Slovenian Protestants. In so doing they opened the way for a distinctive tradition characterized by two prominent features: an idiosyncratic **democratization of the language of translations,** whereby a gradual departure is made from Biblical texts in ancient bookish-literary Slavic languages and Latin; and second, the efforts on the part of national "awakeners" and codifiers in the sixteenth and nineteenth centuries to employ these translations as a means for

elevating the social prestige and significance of the national literary language.

In connection with this subject we would like to mention Rado Lenček's model of cultural development with respect to the peoples of the Slavic world (Lenček 1968: 57–71). Lenček's model is based on three primary components: translation of the Bible into a given Slavic language, the creation of a grammar for that particular language, and the appearance of a poet writing in that language. It is significant that Lenček illustrates his ideas by reference to Slovenia. In Lenček's opinion, the sociocultural development of Slovenia in the pre-national and national periods rested on three principal events: Dalmatin's translation of the Bible; the grammar of A. Bohorič (1584); and the poetry of F. Prešern (first half of the nineteenth century).

Let us now look at the first Slovenian translations of the Bible in terms of their vocabulary. The subject is all the more important since research has not yet taken up the question as to which part of the lexicon employed in the Trubar–Dalmatin–Bohorič translation has been preserved in contemporary Slovenian literary usage.

As a practical matter in the study of the vocabulary of the Slovenian Protestants, research must address the terminology of Christian worship, three quarters of which, according to certain scholars, is either identical or formally and semantically very similar to the Old Church Slavic lexicon (Havránek 1936: 4). These include the forms for such notions as: "to bless," "spirit," "soul," "Lord," "sin," "to repent," "hypocrite," "mercy," "to pray," "hope," "faith," and many others which are an indispensable part of the lexicon of contemporary literary Slovenian.

Below we list some examples of Slovenian liturgical vocabulary (in contemporary orthography) which we have extracted from Dalmatin's translations of the Bible: *angel, apstol=apoštel, avemarija, amen, antikrist; blago, blagosloviti, blaznivost, Bog=Bug, boštvo, bogaime, bogabojec, bratovščina; ceremonija, cirkev=cerkev, cermoniški, cerkoven; domnenie, desnica=pravica (Božja), dobrota, dobrotljivost, dragota, duh, duhovski, duša; gorivstajanje, greh, grešnik, grešiti, Gospod, glagol=beseda; hudič=Sotona=Sotonika; izkušovan, izkušnjevac; kadilo, kaplan, kaplanija, klečoč, keršanstvo, kajati se, kletev, kristjan, krivodejanje, krst=križ, krstčanski, krščanstvo, krščenica, krščenik, krstiti se, Krist, Krščovanje; maša, mašnik,*

menih, menihstvo=menihštvo, milost, milostivost, modrost, molitev, molitva, moljenje, mrtvec; navuk (nebeski, krščanski), nabožanstvo, neistota, nesreča, nevera, nepokorka, nemilost, nedelja (sveta), nevolja, nežadost, norec, norost, norski; oblačilo, opatriti, očenaš=očanaš, odločenje, otrok, orvočič, otročnica; papežni, papežnikov, pastir, pijanec, plesen, počet, pokopanje, pokora, post, paštenje, poštovan, pot, prepoved, prepovedanje, prešernost, priča, prijatelj, prijazniv, prisegovanje, prošnja; rodovit; skrivnost, slabost, sloboden, slepota, služba (Božja), sodba, sovražnik, spodoba, stid i sram=sramota, starost, strah, strahoviten, sveti, svetec, svetost, svitinja; težkost, tihost, tožba; ubijen, užitek; vbojnik, večnost; zahvaljenje, zakon (Božji), zakonski, zblaznjen, zblaznjenje, zdravje, zlaga, zlobost, žalost, žalosten, žegnovanje, žetev, život, živost, žrtva. (Many dozens of other such words could have been included in this list.)

Analysis of the lexicon of the first Slovenian Bible translations enables us to delineate with sufficient precision the functional sphere of the Slovenian "cultic language" during the epoch of Latin supremacy in public worship on Slovenian ethnic territory. Such supremacy was a relative matter, since the Church could not avoid addressing the faithful in their native language. Oral sermons were the vehicle through which the Slovenian literary language received, albeit with some transformation, a significant layer of the lexicon established by the followers of Cyrill and Methodius.

With respect to the theme of our work, there are sound reasons for viewing Slovenian translations of the Bible as an objective and authoritative ethnocultural determinant.

3. Features of linguistic communication in Slovenian during the seventeenth and eighteenth centuries

The style of the Slovenian Protestant texts indicates the originality of the Slovenian Reformation, which unfolded under the strong influence of Humanism. In view of its purely religious aspirations, the Slovenian Reformation produced very few writings of a secular nature; nonetheless, the Protestant texts as a whole are characterized by considerable generic variety. The texts also display a diverse assortment of dialectical features. On the whole, the Slovenian creation of strictly bookish-literary idioms on a popular base - a phenomenon influenced

by ideas of the Reformation – attests to democratization in the language situation. The appearance of literary idioms derived from popular speech instigated competition between Slovenian and non-native languages (Latin and German, as well as Italian and Hungarian) and led to a constriction of the functional spheres of the latter. Simultaneously, penetration of the bookish language of the Slovenian Protestants with its popular-conversational base into rather elevated cultural spheres widened the communicative possibilities of the vernacular, whose use as a written language had theretofore been limited. True, in the seventeenth century during the period of reaction and Counter-Reformation a gradual deviation from sixteenth-century traditions can be observed on Slovenian territory. But notwithstanding the relatively unpropitious general atmosphere in Europe, the Baroque epoch of the seventeenth century in Slovenia can be regarded as a period in which the cultural tradition of the literary language underwent broadening in the area of written usage. Such progress was more a matter of "in spite of" rather than "owing to" – for instance, the Counter-Reformation delayed the appearance of new Slovenian grammars and dictionaries for a number of decades. Baroque elements penetrated written Slovenian with particular intensity in the areas of genre, composition, and stylistics. The Gorenjsko dialects are the most influential during this period.

Linguistic communication in Slovenian at this time is distinguished by its social diversity. According to most Slovenian historians, in seventeenth and eighteenth-century Slovenia the nobility and prosperous city dwellers (who were primarily of German or Italian nationality, whereas the peasants and poorer urban population were Slovenian) used German, Latin, and Italian in all communicative spheres, while the use of Slovenian was exclusively restricted to the lower classes (who were ethnically Slovenian).

New material undermines this view. Admittedly, by the middle of the eighteenth century a distinctive linguistic hierarchy had been established. The summit was occupied by Latin, which though constantly slipping from its position was still preserved in the church affairs, scholarship, and education. Italian, the language spoken by the highest level of society, occupied the second rank and was followed by German, the language of official documents, the bureaucracy, prosperous city

dwellers, and the intelligentsia. At the bottom of the hierarchy were Slavic languages, including Slovenian – the language of the lowest layers of the urban population, the serfs, and the peasants (Melik 1979: 421–424). Nonetheless, evidence of widespread employment of Slovenian among certain families of the nobility and wealthier city dwellers suggests that the status of Slovenian at this time was significantly higher and its communicative function considerably wider than has usually been thought.

The national library in Vienna holds three books which contain notes of interviews with entrants into the Jesuit order. From 1648 through 1737 the Jesuits took in forty-two applicants from the Slovenian lands, most of whom belonged to the ranks of the nobility or the urban population. Of the twenty who came from Krajna all spoke Slovenian. Moreover, when questioned about their knowledge of languages, seventeen mentioned Slovenian as their first language (Чуркина 1985: 189).

Until the middle of the eighteenth century the gentry in Krajna was bilingual, according to some scholars (Чуркина 1985: 189). Such a situation is suggested by the correspondence in Slovenian of certain gentry families in Inner Krajna, Trieste (Gorica) and other localities. In this period there was no stigma attached to the use of Slovenian on the part of the gentry, who employed it together with German and Italian. This was particularly the case in the central Slovenian province of Krajna. Among those Jesuits who delivered sermons in Slovenian during the first half of the eighteenth century were two barons – Ludwig Neuhaus and Daniel Valvasor. The latter was the author of the celebrated encyclopediac account of the Duchy of Kranj (Valvasor 1689), in which he asserts that during the seventeenth century Slovenian was the language of official communications on that territory. His book includes a detailed description of the features of this language in a chapter entitled The Kranjsko-Slovenian language (Rupel 1969: 170–213).

Slovenian was even more widely diffused among the townspeople of Kranj. In 1750, for instance, with the exception of those in Ljubljana, Novo Mesto, and Krško, all municipal judges took their oaths of office in Slovenian. In the following decades profound changes in the situation served to decrease the use of Slovenian. The Germanization of Slovenian towns proceeded at a rapid pace in the wake of the reforms associated

with Maria Theresia and Joseph II. Similar processes took place in other Slavic territories of the Habsburg Empire, particularly in Czech towns.

From the end of the seventeenth century through the first quarter of the eighteenth century Slovenian was rather seldom employed in literary and scholarly works. We have already mentioned the "hierarchy" of languages in place on Slovenian territory. Literature and scholarship were primarily written in Latin, as was the case throughout the Austrian Empire at this time. German was only used in those cases where authors composed their works for the widest possible readership. That German did not occupy the leading position in the Habsburg monarchy prior to the mid-eighteenth century is suggested by the fact that the faculty of German at the University of Vienna was not established until 1749 (Мыльников 1977: 17).

Spoken Slovenian was rather widely employed in the church, where it served as the primary homiletic language. In the case of literature, Slovenian was used as a language of "low style." For example, in the Croatian translation of Moliere's "Georges Danden" the servants and other lower-class characters speak in Slovenian. An identical function was assigned to Slovenian in primarily German language theatrical performances put on for the citizens of Kranj. The use of Slovenian was particularly common in scenes involving peasant weddings. Slovenian rarely figured as a "high style" language. One example thereof can be found in the above-mentioned book by D. Valvasor, into which a certain Jozef Zizenceli placed a Slovenian ode written in praise of the work.

The first Slovenian translations of legal codes appeared in 1754, 1764, and 1766.

As a consequence of the Counter-Reformation no books in Slovenian were published from 1615 to 1672. In the latter year Janez Liudvik Schenleben, bishop of Ljubljana, issued a collection in which the Gospels and a catechism appeared in Slovenian translation together with some Slovenian hymns. At the end of the seventeenth century spiritual literature in Slovenian was published by the Novo Mesto canon Matija Kaštelič, the capucin Janez Svetokrižski, the Jesuit Ernei Basar and others. The eighteenth century in the Slovenian lands can be generally regarded as a time in which unsubstantially normativized Slovenian linguistic practice developed sporadically, both in central and peripheral territories (Ljubljana, Carinthia, Styria, Prekmurje), and stabilized local

linguistic elements (especially lexical elements) which in many ways have retained their local character into our day.

4. The Slovenian language as the primary element of national consciousness

Numerous currently available sources affirm that the first shoots of Slovenian national consciousness emerged at the end of the seventeenth and in the first quarter of the eighteenth centuries. In the previously mentioned Jesuit books many Kranjian entrants into the order indicated that Slovenian was their "lingua nativa" (Koruza 1975/1976: 107). Intellectual activity in Slovenian continued in this period: at the beginning of the eighteenth century the Novo Mesto canon Matija Kastelič wrote a Latin-Slovenian dictionary, which Francisk Ksaverij, a monk at the Diskaltsiatski monastery in Ljubljana, prepared for publication (though it was never printed). Ksaverij (whose secular name was Gregor Vorants) wrote a number of works in Slovenian which, like Ksaverij's dictionary, remained in manuscript form. The Ksaverij–Kastelič manuscripts were subsequently used by M. Pohlin (Koruza 1977: 6).

In the beginning of the eighteenth century the capucin Hippolit (the former Adam Gaiger of Novo Mesto who lived from 1667–1722) compiled his Latin-German-Slovenian dictionary. He invented new words which subsequently entered Slovenian literary usage. In the foreword to his dictionary he criticized younger priests who, in his opinion, perverted the Slovenian language by introducing many German expressions into their Slovenian sermons. In matters of language Hippolit was a follower of G.B. Leibniz, for whom the most important features of any developed language were an ample lexicon, stylistic purity, and brilliance of style (Domej 1979: 197). Unfortunately Hippolit's dictionary and his translations of the works of Jan Amos Komenski, the famous Czech pedagogue, remained unpublished. He managed only to publish a few religious books in Slovenian and another edition of A. Bohorič's Slovenian grammar. Hippolit retained Bohorič's preface which was permeated with ideas of Slavic unity. It would seem that Bohorič's ideas accorded with Hippolit's outlook (Slodnjak 1968: 49).

The interest of educated Slovenes in their native language and its cultivation surely testifies to an embryonic national consciousness on

their part. In 1758 the Carinthian Jesuits published another edition of Bohorič's grammar in Celovec (Klagenfurt). Although they omitted Bohorič's preface, the publishers expressed their regret that many Slovenes did not wish to study Slovenian, and they summoned both the nobility and the common people to use it for purposes of commercial as well as "routine" communication. The Carinthian Jesuits still confused the notions "Slovenian" and "Slavic," treating them as synonymous terms.

The most notable forerunner of the Slovenian national revival was Janez Žiga Popovič (1705–1774), a prominent scholar who chaired the department of German at the University of Vienna from 1753 to 1766. A man of encyclopediac education, Popovič knew not only German but Slavic languages as well. In his "Untersuchungen vom Meere" of 1750 he stressed the contributions which a study of the Slavic languages could make to the development of philology. Popovič pointed to the major role which language plays in the formation and development of nations. Viewing the South Slavic peoples as a whole, Popovič ascribed their cultural backwardness to the centuries-long struggle with the Turkish conquerors. Finally, this Slovenian scholar campaigned for the creation of a single Latin-based alphabet to be used by all the Slavs and proposed his own variant thereof (Matešić 1979). Popovič objected to the use of two or three letters (digraphs and trigraphs in the manner of German) for the rendering of a single sound, advocating instead that each sound be represented by its own letter. Many of Popovič's ideas were taken up E. Kopitar, through whom they influenced other Slavic language-reform movements, particularly the reform of Serbian led by V. Karadžić (Петровский 1906: 482–484). Evidently Popovič also influenced Anton Feliks Deva, one of the first activists of the Slovenian revival and a pupil of Popovič's at the Jesuit secondary school in Ljubljana during 1745–1746 (Koruza 1977: 12).

The ethnic awareness of all the above-mentioned educated Slovenes was most evident in their attempts to promote the use of Slovenian. At the same time, a clearcut distinction between Slovenian and other Slavic languages is missing from their writings, a fact which reflects both the underdeveloped state of their ethnic consciousness and a naive but conscientious attempt on their part to advance the rights of their

countrymen by emphasizing Slovenian affiliation with the Slavic peoples as a whole.

5. Grammatical codification and lexicographical realization: the primary factors in the lexical stabilization of literary Slovenian in the initial stage

According to most specialists in Slovenistics the appearance in 1768 of the Kranjsko grammar, written by the Augustinian Marko Pohlin (1735–1801), commences the initial phase of the Slovenian national revival. The last third of the eighteenth century is distinguished by the activities of Pohlin and other eminent representatives of Slovenian culture and enlightenment, such as A.F. Dev (1732–1786), O. Gutsmann (1727–1790), B. Kumerdej (1738–1805), and V. Vodnik (1758–1819). Below we analyze the development of literary Slovenian during this period with respect to both its grammatical codification and the various lexicographical projects which played an important role in the linguistic programs of the above-mentioned heralds of the Slovenian national revival.

Zlatko Vince has pointed out that the large corpus of Slovenian and Croatian dictionaries and grammars produced during the eighteenth and nineteenth centuries has attracted little attention on the part of scholars. According to Vince, this material must be thoroughly studied if we are to form a faithful picture of the development of literary language among the Slovenes and the Croats (Vince 1978: 546).

Although individual Slovenian grammars have been the subject of a number of studies, a comprehensive history of Slovenian grammars has yet to be written. The history of Slovenian grammars is part of the history of Slovenian linguistics. Until the middle of the nineteenth century grammars, dictionaries, and orthographic primers constituted the only works of a linguistic nature. Often a grammar, a dictionary, and an orthographic primer were published as a single book, and such works displayed the entire range of their compilers' views regarding the state of the Slovenian language. The extent to which those views have been "woven" into contemporary Slovenian linguistics is still an open question. In researching this linguistic heritage, we discover various directions in the development of scholarly thought which extend over the course of centuries - more than 400 years have passed since the appearance of

Bohorič's grammar, which was not only the first Slovenian grammar but also the first grammar to appear among the Southern Slavs.

Most contemporary linguists would agree that a grammar is one of the most representative kinds of texts with respect to a given culture and language. A grammar focuses on the communicative and philological problems of a given language collective and proposes solutions from both theoretical and practical perspectives (Мечковская 1985: 225).

The grammars of M. Pohlin, O. Gutsmann, and B. Kumerdej dealt with individual Slovenian dialects rather than Slovenian in the fullest sense, a reflection of the regional consciousness of their times.[2] Pohlin's and Kumerdej's grammars treated the Kranjsko dialect, Gutsmann's the Carynthian (Wendish) dialect.

Initially, the national revival movement and the struggle to broaden the functions of Slovenian were centered in Ljubljana. For the most part natives of the central regions of Slovenia (Krajna), the activists used the term *Kranjci* in their appeals to the populace and labeled their native language *kranjščina* in their philological works. As a rule, they disregarded the populace of other Slovenian territories and the particularities of the non-central dialects. E. Kopitar's "Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Karinten und Steyermark," published in Laibach in 1809, was to some extent an exception to the latter tendency. But although the title of Kopitar's work promised a characterization of the non-central Carinthian and Styrian dialects, the actual text contained no material on them.

In other Slovenian territories there was little evident consciousness of the need for national and linguistic unity. Thus, in the works of Gutsmann, the Carinthian most sympathetic to the ideas of the national revival, we find an uncritical collection of local Rozansk and Podjunsk dialectical features. In Prekmurje the literary-written language variety

---

[2] At that time the consciousness of national unity had not taken root in many regions of Slovenian territory. This characteristic feature of the initial stage of the national revival is manifested in the lack of a term for the Slovenes in the sense of a separate people - the word *Slovenec* was employed in the sense of "Slav." *Slovenec* and *Sloven* first appear with the meaning "Slovene" in Gutsmann's Slovenian-German dictionary of 1789.

was based on the local dialects and employed a Hungarian orthographical system (Štefan Kuzmič).

Thus an underdeveloped sense of Slovene national unity, unawareness of the need for a single literary language, and regional and separatist features in literary activity characterize the initial phases of the Slovenian national revival and the formation of the Slovenian national literary language.

Against this background the creative ideas and practical achievements of Mark Pohlin with respect to the consolidation of the Slovenian ethnos are of great importance. Pohlin was the first to proclaim the need to publish secular, as opposed to simply religious, books in Slovenian. From 1781 to 1789 he himself published a number of German translations aimed at a popular readership: "Bukvice za rajtengo" ("Arithmetic"), "Kratkočasne uganke in čudne Kunšte" ("Riddles and charades"), "Kmetam za potrebo inu pomoč" ("For the needs and assistance of the peasantry").

Pohlin's Slovenian-German-Latin dictionary ("Tu malo besedišče treh jezikov" published in 1781) contained not only Slovenian lexical material but vocabulary from other Slavic languages which Pohlin drew from Czech and Croatian dictionaries. Some of these words have become established in contemporary literary usage: among such Czech borrowings we find *geslo, odpor,* and *pisarna,* among others; the Croatianisms include *bolest, budalost, oblika, podnebje,* and *zrcalo.*

The dictionary also features a number of items created by derivation on Pohlin's part which have also entered the contemporary lexicon: *dvomiti, prekop, preproda, rokodelec, stavek, testenina, tržišče, umetnost.* In addition, a number of specialized terms, including 430 botanical names, found a place in Pohlin's dictionary.

Pohlin possessed a definite ethnic consciousness, though he identified himself as a Krajnian, rather than as a Slovene. At the same time, mutual ethnic affinity of the Slavic people's was a notion which aroused Pohlin's sympathies, and in 1792 he attempted to publish an etymological dictionary under the title Glossarium slavicum, which contained the results of his research with respect to Czech and Croatian, as well as Slovenian words (Matešić 1979: 375). Pohlin actively promoted his ideas both in the press and among his students, who included Janez Mihelič, Jozef Zakotnik, and Valentin Vodnik, among others.

The confused linguistic situation and lack of a unified norm for written Slovenian necessitated the introduction of changes in the spelling system and the creation of new Slovenian grammars and dictionaries. Above all it was necessary to reach decisions with respect to two matters: the relation between the contemporary written language and the Protestant literary-written tradition, and the degree to which the written language should reflect those phenomena which had radically altered the phonetic structure of the Slovenian dialects.

Pohlin consciously parted with the written norms of Protestant literature, placing features of the Ljubljana dialect at the basis of his proposed norms. In comparison to Bohorič's grammar, that of Pohlin provides a more accurate picture of the contemporary state of the language.

Given the linguistic situation on Slovenian ethnic territory which we have described, Pohlin's grammar was bound to have its faults and it provoked sharp criticism on the part of many activists in the Slovenian national revival, particularly O. Gutsmann, B. Kumerdej, V. Vodnik, and E. Kopitar. The attacks were mainly directed at Pohlin's departure with Bohorič's orthography and his choice of the Ljubljana dialect as the basis for the literary-written language.

The first to take issue with Pohlin's innovations was Ozbald Gutsmann. A native of Carinthia, Gutsmann leaned upon the authority of Bohorič in authoring the best Slovenian grammar to appear in the eighteenth century. In Gutsmann's view, the language of the intelligentsia – i.e. scholars, preachers, and writers – should serve as a guide in the establishment of grammatical rules. He advocated "authentic" language, by which he meant the general literary language of the Slovenians, which he clearly distinguished from the territorial dialects. Gutsmann defended the right of the Slovenes to their own literary language by pointing out that the peoples genetically related to the Slovenes "occupied a vast territory extending from the North Sea to the Adriatic" (Matešić 1979: 375).

Gutsmann's Slovenian grammar ("Windische Sprachlehre," Celovec, 1777) attests to the advances taking place in Slovenian grammatical scholarship in the last third of the eighteenth century. Adhering to the actual facts of the language, Gutsmann gives a scrupulous presentation of locative case forms and makes no mention of the vocative case (which

had dropped out of the Slovenian declensional system) or genitive forms which are uncharacteristic of Slovenian.

He also includes certain of Pohlin's innovations with respect to inflection and graphics.

In 1789 Gutsmann published his "Deutsch-Windisches Worterbuch," which became a valuable lexicographical guide for many years to follow. Alongside the lexical items found in previously published dictionaries, Gutsmann's dictionary included words from the Carinthian dialects and new formations of his own invention. Gutsmann illustrated his definitions with many folk expressions and sayings. Among those of Gutsmann's neologisms preserved in contemporary Slovenian are: *delavnica, dnevnik, ladevje, ljubosumnost, novice, obljubiti, odbor, sladkor* (Breznik 1967).

Let us sum up. The initial period of the Slovenian national revival was characterized by notable achievements in the area of grammatical description and lexicography. The phonetic system is analyzed in a manner which takes account of Slovenian innovations; the case-system is presented with more precision; verbs of perfective and imperfective aspect are differentiated; verbal forms are treated from a functional perspective; and features of syntax and word-formation are also discussed. The vocabulary is considerably enriched, and attempts are made to establish a terminological lexicon.

With respect to the state of the Slovenian lexicon at this time, grammars and dictionaries are the most representative texts at our disposal. Moreover, the Slovenian grammars and dictionaries of the last third of the eighteenth century reflect various aspects of the culture of that time and thus constitute a valuable source for the study of Slovenian cultural history.

The Slovenian grammars of the last third of the eighteenth century accurately reflect the character of current scholarly thought in general. As a reglamentation of the language practice of speakers, a normative grammar reflects the linguistic ideology of a society – both in the principles which it lays down and in its selection of linguistic material for presentation. Finally, the Slovenian grammars of this time enable us to estimate the extent to which the Slovenian language was taught and studied.

REFERENCES

Breznik, A. 1967, *Življenje besed.* Maribor.

Domej, T. 1979, Slovenska jezikoslovna misel na Koroškem v XVIII. stoletju. In: *Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi.* Ljubljana.

Havránek, B. 1936, Spisovný jazyk český. *Československá vlastivěda.* Řada II, S. 4. Praha.

Koruza, I. 1975/1976, K problematiki slovenskega preroda. *Jezik in slovstvo.* T. XXI. St. 4. Ljubljana.

Koruza, I. 1977, Spremna beseda - Pisanice od lepih umetnosti. In: *Monumenta literarum slovenicarum.* V. 14. S. 6.

Lenček, R.L. 1968, The Theme of the Greek Koine in the Concept of a Slavic Common Language and Matija Majar's Model. In: *American Contributions to the Sixth International Congress of Slavists.* Vol. I. Prague.

Matešić, I. 1979, O slavenskoj svijesti i njezinoj ulozi u razdoblju slovenskogo prosvjetiteljstva. In: *Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi.* Ljubljana.

Melik, V. 1979, Zgodovinske osnove začetkov slovenskega narodnega gibanja. In: *Obdobje razsvetljenstva v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi.* Ljubljana, 421-424.

Rigler, J. 1968, *Začetki slovenskega knjižnega jezika.* Ljubljana.

Rupel, M. 1969, *Valvasorjevo berilo.* Ljubljana.

Slodnjak, A. 1968, *Slovensko slovstvo.* Ljubljana.

Valvasor, J.W. 1689, *Die ehre des Hertzogthums Crain.* Nürnberg.

Vince, Z. 1978, *Putovima hrvatskoga književnog jezika.* Zagreb.

Мечковская, Н.Б. 1985, *Ранние восточнославянские грамматики.* Минск.

Мыльников, А.С. 1977, *Эпоха просвещения в Чешских землях: идеология, национальное самосознание, культура.* М.

Петровский, Н.М. 1906, *Первые годы деятельности В. Капитаря.* Казань.

Чуркина, И.В. 1985, Становление национальных идей в словенской художественной культуре. В кн.: *Концепции национальной художественной культуры.* М., 186-208.

(to be continued)

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 87-94.

ФУНКЦИОНАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ЕДИНИЦ ЯЗЫКА

Тамара Васильевна Веракша

(РГПУ им. А.И. Герцена, Кафедра РКИ (для студентов), Россия, Санкт-Петербург, набережная Мойки 43 - JATE, Szláv Filológiai Tanszék, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Возникновение коммуникативной лингвистики обусловлено как практическими, прикладными задачами, так и теоретическими потребностями современной семасиологии. Некоторые авторы объясняют бурное развитие коммуникативной лингвистики также тем, что, по их мнению, на современном этапе уже нельзя получить значительные результаты в сфере традиционной парадигматической лингвистики (Фрумкина 1984).

Само понимание функции в языкознании очень различно. Функцию и функциональность рассматривали на основе противопоставления формы и содержания, языка и речи, языка и нормы, статики и динамики, структуры и употребления, средства общения и самого общения. Эти различные точки зрения не исключают друг друга, а создают систему пересекающихся понятий - основу иерархического учения о системе языковых функций.

Основной функцией языка считается коммуникативная, многие признают еще вторую функцию - когнитивную. Другие функции языка (аккумулятивная, эстетическая, эмоциональная и др.) относятся к вторичным, производным от двух основных функций языка.

Функциональное направление, получившее в настоящее время такое широкое распространение в лингвистических исследованиях, отличается от коммуникативного. Термином "функциональная лингвистика" обозначается несколько различных направлений: исследование особенностей функционирования языка в разных экстралингвистических ситуациях, изучение особенностей выполнения языком его отдельных функций, исследования в области функционально-семантических категорий и некоторые другие.

В задачу функциональной грамматики входит исследование функционирования грамматических единиц и, шире, грамматической системы данного конкретного языка. А.В. Бондарко (1984: 54) отмечает, что "«функциональная грамматика» при широком истолковании ее предмета фактически перерастает в функциональное изучение языка в целом".

Коммуникативная лингвистика как направление в изучении языка делает актуальным вопрос осуществления коммуникативного подхода к языковым единицам разных уровней. Сегодня уже существуют коммуникативный синтаксис, коммуникативный подход к тексту, но явно недостаточно исследований в области коммуникативной лексикологии.

Коммуникативное исследование слова осуществляется на уровне семемы, т.е отдельного значения слова, что требует описания семантики слова через "компонент значения", другими словами – применения понятийно-терминологического аппарата семной семасиологии.

Коммуникативное описание значения слова осуществляется как исчисление компонентов, имеющихся в значении слова в коммуникативном акте, а для этого нужно знать весь набор компонентов в системе, вне коммуникативного акта. Это обстоятельство требует постоянного обращения к описанию значения в статике. При дальнейшей работе с лексикой "переход от статики к динамике в языкознании является наиболее надежным" (Матезиус 1967: 69).

Наличие в значении слова ядра и периферии, различие между значением слова и актуальным смыслом слова в коммуникативном акте, когда актуализуется лишь часть значения слова, являются важнейшими особенностями слова как коммуникативной единицы языка.

Периферийные компоненты значения играют существенную роль в коммуникации. Они в основном обеспечивают коммуникативную гибкость слова, дают ему широкие номинативные возможности в коммуникативных актах, а также возможности семантического варьирования. При этом должны найти отражение периферийные семы, которые обладают наибольшей коммуникативной релевантностью.

Например, значение русского глагола *идти* в объеме ядерных сем определяется так: 'передвигаться, ступая ногами'. Однако глагол *идти* в "Словаре русского языка" С.И. Ожегова (12-е изд.) имеет 24 значения, в "Словаре современного русского литературного языка" (БАС) отмечено 26 значений, а в "Толковом словаре русского языка" под редакцией Д.Н. Ушакова – 40 значений.

Действительно, при упоминании глагола *идти* в сознании возникает действие – 'передвигаться, ступая ногами'. Напр.: *Татьяна долго шла одна.* Но:

(1) На Русь ли вновь *идет* войною?
(2) Письмо *шло* ровно 25 дней.
(3) Часы *идут*, за ними дни проходят.

В первом предложении глагол *идти* синонимичен глаголу *нападать*, во втором – *пересылать*, в третьем – *проходить*.

Если в первом предложении употребление глагола *идти* в значении 'нападать' носит сегодня оттенок архаичности, то в двух следующих значениях этот глагол активно употребителен. Это еще раз подчеркивает то, что некоторые периферийные компоненты значения не менее важны для коммуникативности, чем ядро слова.

Важным для понимания сущности актуализации значения в речи является выяснение соотношения понятий актуализации и семантического варьирования. Всякая актуализация значения представляет собой коммуникативное варьирование значения, семантическое варьирование значения по составу компонентов. Любой актуальный смысл слова есть семный вариант системного значения – компетенции, один из возможных вариантов представления системного значения в коммуникативном акте. Семное варьирование значения в коммуникативном акте является проявлением общей тенденции к варьированию, действующей в языке.

Рассмотрим толкование прилагательного *частный* (Словарь русского языка С.И. Ожегова, 12-е изд.):

1. Являющийся отдельной частью чего-нибудь, не общий, не типичный. *Частный вывод.*

2. Личный, не общественный, не государственный. *Частная переписка.*
3. Принадлежащий отдельному лицу, не обществу, не государству. *Частная собственность.*
4. Относящийся к личному, индивидуальному владению, деятельности, хозяйству и вытекающим отсюда отношениям. *Частное лицо. Частное определение* (спец.) – определение, выносимое судом по вопросу, не подлежащему его компетенции.

Хотя употребление прилагательного *частный* довольно широко представлено в научном стиле речи таким словосочетанием как *частное языкознание*, в словаре приводится только один случай употребления этого прилагательного со стилистической пометой "спец". Поэтому значительная роль периферийных компонентов значения слова в коммуникативном акте обусловливает необходимость семантизации этих компонентов в процессе обучения лексике на продвинутом этапе. В связи с этим встает вопрос о создании лексикографических пособий, в которые были бы включены и наиболее яркие периферийные компоненты значений лексических единиц.

Из этого становится понятной та доминирующая роль, которую играет сегодня в обучении работа с текстом. В этом случае в обучении языку от речи акцент делается на содержании, смысле, замысле, предметных связях, отражаемых в тексте. Отсюда следует описание денотативных моделей, которыми оперирует наше сознание наряду с понятиями и представлениями (Новиков 1983). Функциональное описание языка, тесно связанное с тематико-ситуативной группировкой языкового материала, оказывается шагом в направлении изучения этих денотативных моделей, их языкового плана.

При работе с текстом становится более понятным соотношение "значение–употребление", особенно это касается категории многозначности: многозначность снимается в контексте, тексте, когда мы рассматриваем слово не со стороны системы языка, обращаясь к словарной статье.

Объем текста как единичного проявления речи – речевой деятельности и речевого общения – зависит от целей общения, определяемых экстралингвистическими факторами. Организующим нача-

лом этой единицы является намерение автора, целеустановка, которая определяется конкретной деятельностью людей.

С другой стороны, текст – это продукт предметной деятельности, поэтому прежде всего выясняется мотив и цель сообщения, а уж затем рассматривается материал (предмет), на котором этот мотив, эта цель реализуются. В качестве продуктов такой деятельности, как говорение, письмо, выступает текст, в котором объединяется вся совокупность практической деятельности.

Действительно, текст с точки зрения самых общих определений можно рассматривать как некий конкретизированный фрагмент речи, причем и со стороны речевой деятельности, и со стороны речевого общения. Определяется набор лингвистических средств, соответствующий определенной речевой деятельности в определенной сфере общения. В основе коммуникации объективно выступает не столько акт речевого общения, сколько отражение в этом акте конкретной формы человеческой практики, деятельности, познание которых необходимо обучающимся. Поэтому обучение при работе с текстом связано с закономерностями применения языка как инструмента, как набора языковых средств, которые выступают в качестве характеристики стиля речи и, следовательно, конкретного текста.

Возьмем для примера фрагменты из двух текстов Пособия по научному стилю речи, работа с которыми ведется в процессе обучения филологов-русистов.

Текст 1: Общее и частное языкознание.

Языкознание (языковедение, лингвистика) – наука о языке. Для науки все языки равны и все важны, потому что каждый из них есть проявление языка вообще.

Общее языкознание изучает общие законы строения и развития языка. Как бы ни различались между собой отдельные языки, у них есть много одинаковых, общих признаков. Эти признаки и изучаются общим языкознанием. Наиболее важные вопросы общего языкознания таковы: как возник и как развивается язык, каким образом язык связан с мышлением, каково внутреннее устройство языка, какими методами можно исследовать язык.

Каждый из этих вопросов – сложная научная проблема. Решая их, языковеды используют данные и других наук – логики, психологии, истории.

Исследованием конкретных языков занимается частное языкознание. Этот раздел лингвистики изучает отдельные языки или группы родственных языков. Так, существует русистика, которая изучает русский язык, его фонетику, лексику, грамматику, полонистика, изучающая польский язык, испанистика – испанский язык и т.д., славистика, изучающая славянские языки, германистика, изучающая германские языки и т.д.

Текст 2: Фонетика.

Звуковая сторона языка изучается разделом языкознания, который называется фонетикой. Звуковая сторона языка – сложное явление: физическое, биологическое и социальное, поэтому она изучается с разных точек зрения, рассматривается в разных аспектах, исследуется разными науками.

Общей теорией звука занимается раздел физики – акустика. Строением речевого аппарата занимается биология. Различительную роль звуковой речи, соотношение между звуком и фонемой изучает особый раздел фонетики, который называется фонологией.

При анализе текстов находим в их составе общие смысловые элементы:

1. Определение изучаемого лингвистического явления.
2. Предмет изучения, исследования.
3. Основные проблемы, связанные с изучаемым лингвистическим явлением.
4. Взаимосвязь между отдельными частями изучаемого явления.

Разграничение смысловых центров по принципу "ядро–периферия", по степени существенности играет важную роль при анализе содержания текстов.

Смысловые элементы, названные обязательными, включаются, как правило, в смысловую структуру текста, это обусловлено целями информации, т.е. экстралингвистическими факторами. Эти элементы обладают не только смыслом, но и стабильной струк-

турой, повторением грамматических конструкций, слов и выражений, характерных для определенной смысловой единицы, однозначностью терминов, что очень важно при обучении на иностранном языке.

В нашем случае это грамматические конструкции: *что есть что, что изучает что, что занимается чем, что связано с чем.*

На синтаксическом уровне они могут быть представлены простым двусоставным предложением, в котором сказуемое может быть как простым, так и составным именным. Простое глагольное сказуемое выражено возвратной формой глагола и управляет творительным падежом. Напр.: *Исследованием конкретных языков занимается частное языкознание. Строением речевого аппарата занимается биология.*

Кроме того, простое глагольное сказуемое может быть выражено формой настоящего времени переходного глагола: *Общее языкознание изучает общие законы строения и развития языка. Различительную функцию фонемы, соотношение между звуком и фонемой изучает особый раздел фонетики...*

Не могут быть оставлены без внимания при чтении текста и те части, которые несут менее значимую семантическую, коммуникативную нагрузку. Изучение периферийных, но коммуникативно значимых компонентов текста необходимо для полного представления обучаемых о том или другом изучаемом явлении.

Цепочка "слово – словосочетание – предложение – текст" в сегодняшней лингвистике и методике превратилась в неразрывное целое и свою завершенность находит в функционально-коммуникативном подходе к работе с текстом.

Особое значение имеет художественный текст. В нем снимается противопоставление "язык–речь", поскольку язык реализует здесь свои потенции во всей полноте (Белошапкова 1981), здесь отражаются предметные связи, которые характерны для данного национального сознания.

Поэтому альтернатива: чему обучать – системе языка или системе речи разрешилась в тезисе: обучать нужно системе речи, а не системе языка. Грамматические правила стали давать скрытно, меньше работать с грамматическими таблицами, это привело к мас-

се ошибок в устной и письменной речи обучаемых, а исправление ошибок часто не понималось и, следовательно, не воспринималось учащимися. Это стало следствием односторонней интерпретации принципа коммуникативности в обучении языку.

Коммуникативность стала противопоставляться системности, односторонность такого подхода сегодня стала очевидной. Сегодня и лингвисты-ученые и методисты-практики пытаются найти соразмерность между системой и коммуникатвностью, язык и речь изучать параллельно и одновременно на основе правил языка и правил речи.

ЛИТЕРАТУРА

Белошапкова, В.А. 1981, *Современный русский язык: учебник для студентов филологических специальностей университетов.* М.

Бондарко, А.В. 1984, *Функциональная грамматика.* М.

Матезиус, В. 1967, О потенциальности языковых явлений. В кн.: *Пражский лингвистический кружок.* М.

Новиков, А.И. 1983, *Семантика текста и ее формализация.* М.

Фрумкина, Р.М. 1984, Предисловие. В кн.: *Психолингвистика: сб. статей.* М.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 95-116.

К ОПИСАНИЮ РУССКОГО ЯЗЫКА В АСПЕКТЕ КАРТИНЫ МИРА

Екатерина Сергеевна Яковлева

(Институт русского языка им. А.С. Пушкина
Россия, Москва, ул. Волгина 6)

1.0. Данная статья преследует две цели: во-первых, мы хотим ввести читателя в круг проблем, которые связаны с описанием языка под углом зрения "картины мира", а во-вторых, на русском языковом материале мы попытаемся обозначить некоторые ключевые для русской языковой картины мира моменты, как бы сказал Р. Якобсон, "точки особого напряжения в пределах рассматриваемой области".

1.1. Прежде всего, о самом понятии языковая картина (или модель) мира.

В философии картиной мира называют "совокупность предметного содержания, которым обладает человек" (Ясперс) и выделяют чувственно-пространственную картину мира и духовно-культурную.

В качестве рабочего определения мы предлагаем под языковой картиной мира понимать зафиксированную в языке и специфическую для данного языкового коллектива схему восприятия действительности. Таким образом, языковая картина мира – это своего рода мировидение через призму языка.[1]

Известно, что "образ мира, запечатленный в языке, во многих существенных деталях отличается от научной картины мира" (Апресян 1986: 5). В отечественной лингвистике одним из первых эту мысль выразил Л.В. Щерба. Он, в частности, говорил о принципиальном различии понятия "прямая линия" в геометрии (где это

---

[1] Ср.: "Каждый естественый язык отражает определенный способ восприятия и организации (= концептуализации) мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию, которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка" (Апресян 1995: 38–39).

"кратчайшее расстояние между двумя точками") и в языке (где это, скорее, "линия, которая не уклоняетя ни влево, ни вправо, ни вверх, ни вниз") (мы взяли этот пример из работы Ю.Д. Апресяна (1974: 56), в которой вопрос о "наивных" интерпретациях реалий, имеющих научные определения, ставится в плане его практической значимости для лексикографии).

Еще пример (его любил проводить В.В. Виноградов): мы говорим *Солнце село/взошло/поднялось высоко; восход, закат...* вопреки нашим научным знаниям, опираясь не на коперниковское доказательство, а на наше непосредственное восприятие.

В целом языковое отражение картины мира носит донаучный характер: в нашем словоупотреблении легко можно заметить следы мифопоэтического, архетипического мышления. Ср.: *подножье горы, устье реки, горный хребет, рукава реки...* – пространство "очеловечивается", описывается с помощью "антропоморфного кода" (см. об этом подробнее: Топоров 1983). В основе этой идеи лежит мир о Космосе как об огромном первочеловеке, отголоски этой идеи слышны, в частности, в платоновском "Тимее".

Другой пример. Мы знаем и активно используем много выражений с таким словом, как *душа,* и активность их никак не снизилась с введением атеистической пропаганды, утверждающей, что души нет. Впрочем, если мы заглянем в толковые словари, то увидим различие в принятом способе описания *души,* связанное именно с социально-историческим табу. Сравним.

С.И. Ожегов: ДУША – 1. Внутренний, психологический мир человека, его сознание. *Предан душой и телом своему делу. Радостно на душе...* 2. То или иное свойство характера, а также человек с теми или иными свойствами. *Добрая душа. Низкая душа...* и т.д. (Ожегов 1970: 178).

В.И. Даль: ДУША – бессмертное духовное существо, одаренное разумом и волею; в общем значении человек с духом и телом; в более тесном// человек без плоти, бестелесный, по смерти своей... и т.д. (Даль I: 504).

Легко заметить, что в одном случае *душа* описывается как метафора, либо же как метонимическая замена человека, в другом – как полноправный объект картины мира.

1.2. Вопрос о "наивных" языковых интерпретациях разного рода реалий как практически важный и требующий решения был осознан в первую очередь лексикографами. Сейчас (октябрь 1995 г.) в Институте русского языка РАН группа лингвистов под руководством Ю.Д. Апресяна закончила макет Нового толкового объяснительного словаря синонимов русского языка, в котором материал описывается с опорой на понятия "наивной" геометрии (пространственная лексика), "наивной" психологии (эмоциональная лексика)[2] и под.

В недавно вышедшей статье (Вопросы языкознания 1995, № 1) Ю.Д. Апресяна "Образ человека по данным языка: попытка системного описания" представлен анализ эмоциональной лексики русского языка в плане "наивного" языкового мировоззрения. Приведем пример из этой статьи, относящийся к **культурным** мотивациям нашего словоупотребления, мотивациям, которые при традиционном подходе просто невозможно заметить.

Устанавливается, что для языковой концептуализации эмоций необычайно важным является их отношение к идее света: "В целом положительные эмоции, такие как *любовь, радость, счасьте, восторг*

---

[2] "Наивную" психологию с полным правом можно было бы назвать и "наивной анатомией чувств", ср.: "В описании наивной картины мира одно из центральных мест занимают представления о локализации ощущений в человеческом теле: для каждого из физических и психических проявлений человека имеется определенный орган, являющийся местом их нормального "пребывания" (и - метафорически - их заместителем)... Указанная особенность (т.е. обязательная связь ощущений человека с каким-либо органом его тела), по-видимому, является универсальной; различие же между конкретными языками заключается в том, как именно распределяются ощущения на наивной "анатомической карте" человека" (Плунгян 1991: 155). Известно, что там, где русский скажет *душа,* француз очень часто говорит "сердце". Вообще, именно сердце наивным языковым сознанием мыслится как вместилище души и часто выступает метонимической заменой всего человека *(Доброе/злое сердце).* Однако эта особенность является лишь тенденцией языкового мышления, а не правилом: в ряде итальянских диалектов вместилищем чувств выступает такой, непопулярный с точки зрения русского языкового сознания орган, как селезенка; в языке Ветхого Завета как эквивалент сердца может употребляться печень, а в узбекском языке ум обладает большей, по сравнению с русским, эмоциальной нагруженностью (именно "ум" является для этого языкового сознания эквивалентом души во фразах типа: *Низкая/подлая/трусливая душонка).*

концептуализуются как светлые, а отрицательные эмоции, такие как *ненависть, тоска, отчаянье, гнев, бешенство, ярость, страх, ужас* – как темные" (Апресян 1995: 55). Именно световая мотивация определяет наше употребление в следующих случаях (приводим примеры из статьи): *свет любви, Глаза светятся/сияют от радости/от любви, Глаза светятся любовью, Ее лицо озарилось от радости, Радость осветила ее лицо* и, с другой стороны, *Глаза потемнели от гнева, Он почернел от горя, черный от горя.* "Нельзя **потемнеть от радости,* или **озариться от гнева"* (там же). И далее: "В цветовой метафоре даже небольшая примесь темного становится препятствием для характеристики положительной эмоции. Можно *зарумяниться <зардеться> от радости, побагроветь от гнева <от злобы>,* но не **побагроветь от радости* и не *??зарумяниться <зардеться> от гнева"* (там же, с. 56). Интересно и то, что для глаголов, "в которых идея света сочетается с идеей блеска" *(гореть, сверкать, блестеть, вспыхивать...)* указанные запреты снимаются, ср.: *Ее глаза вспыхнули от радости <от гнева>, Ее глаза горели любовью <ненавистью>* (там же).

Мотивацию идеей света мы отнесли к разряду **культурных.** Остановимся на этом вопросе.

1.3. Истоки такого рода мотиваций могут быть неочевидными, неясными без апелляции к истории языка и к истории культурных представлений носителей языка. В "Материалах для словаря древнерусского языка..." И.И. Срезневского слову **свѣтъ** и производным от него отводится несколько страниц большого (словарного) формата (Срезневский III: стлб. 295–302). Подавляющее большинство производных – **свѣтьловати** ('освещать, просвещать'), **свѣтьлитися** ('светиться, сияться'), **свѣтьлотворити** ('наполнять светом духовным'), **свѣтьлоѩдрьнъıи** ('светом указывающий путь') – в современном языке утрачены, как утрачена (или во всяком случае существенно редуцирована) идея божественной природы света (ведь *свет* и *свят* относятя к одному и тому же праславянскому корню **svęt-* (Топоров 1995), ср.: "... самая стихия света есть божество, нетерпящее ничего темного, нечистого, в позднейшем смысле – греховного. Понятия светлого, благого божества и святости неразлучны... Так от *санскр.* div – светить, блистать, играть лучами образовалось *греч.* Ζευς (род. Διός), *лат.* Deus – Бог, divus – божествен-

ный, святой..." (Дьяченко 1993: 582). Таким образом, световая мотивация эмоций – это историческая память языка о слове (концепте) и его семантическом ареале.

Приведенные факты подводят нас к мысли, что к феномену языковой концептуализации нужно подходить как к **процессу;** языковая картина мира – это **динамика:** какие-то ее фрагменты складываются, выявляются с течением времени, а какие-то, напротив, – затемняются, в результате чего наше употребление кажется на первый взгляд ничем не мотивированным (недаром Гумбольдт о языковом мышлении говорил как о "внутренней форме языка"). Апелляция же "внутрь", как правило, означает исследование "вглубь" времени, апелляцию к прошлому языка и языкового мышления. В пояснение и подтверждение сказанного приведем такой пример.

В современном русском языке есть ряд наречий-интенсификаторов, которые группируются вокруг слова *очень*: *ужасно, страшно, жутко* (разг.), *весьма* (книжн.), *удивительно, необычайно...* и др. Для носителей русского языка сочетания типа *ужасно (страшно, жутко) красивый* не кажутся ни парадоксальными, ни страшными, между тем, как во многих других языках им нет аналогов. На первый взгляд, выбор в качестве интенсификаторов таких наречий, как *ужасно, жутко, страшно* кажется ничем не мотивированной языковой прихотью. Однако исследование "вглубь", в историческую ретроспективу, объясняет наш сегодняшний выбор. Дело в том, что в церковнославянском (культовом!) языке слово **оужасъ** (равно как и **страхъ**) значило "удивление, изумление... исступление, вдохновенное состояние... благоговейный страх" (Дьяченко 1993: 752). **Страшнъıи** в церковнославянском – "внушающий почтение, благоговение... удивительный, чудный, величественный... чрезвычайный, безмерный" (там же, с. 672). Названия подобного рода религиозных (экстатических чувств[3] – совмещающих противоположные оценки – в современном языковом сознании, как правило, преломляются в какую-либо одну оценочную плоскость, так, *чаять* понимается, скорее, в плане надежды, чем в плане опасения. Но именно "экстатичность"

---

[3] Ср.: "**чаати** – ... ожидать, предполагать, бояться, надеяться..." (Дьяченко 1993: 813).

церковнославянских "страха" и "ужаса" мотивируют их сегодняшнее разговорное употребление. Заметим, что только эти слова передают идею интенсификации в наиболее чистом виде, без какой-либо примеси "качества". И в этом смысле они отличаются от таких своих синонимов, как *необычайно, удивительно, потрясающе:* последние в силу наличия семантики 'удивление' не используются относительно 1-го лица, ср. *Ужасно/страшно рад вас видеть* при невозможности **Поразительно/удивительно рад вас видеть.*

К тезису о важности при изучении языковой картины мира рассмотрения той или иной лингвистической формы в исторической ретроспективе мы вернемся в последующих разделах нашей работы.

1.4. Известно, что "свойственный языку способ концептуализации действительности (взгляд на мир) отчасти универсален, отчасти национально специфичен, так что носители разных языков могут видеть мир немного по-разному, через призму своих языков" (Апресян 1995: 39). По слову философа, "границы моего языка определяют границы моего мира". На эту тему еще из университетских курсов нам вспоминается гипотеза лингвистической относительности Сэпира–Уорфа – "концепция, согласно которой структура языка определяет структуру мышления" (ЛЭС: 443). Чтобы задать круг ассоциаций на тему "лингвистическая относительность", приведем хрестоматийный пример – о разработанности ЛСГ 'снега' в языке, для которого идея "снега" чрезвычайно важна – в эскимосском. Таким образом, говорящий на этом языке просто обязан, в целях правильного выбора слова-названия снега, различать такие оттенки и нюансы, для которых в других языках нет специальных обозначений.

Другой, менее экзотический пример. Мы знаем, что для англо- и франкофонов составляет определенную проблему употребление русских глаголов *идти* и *ехать,* поскольку в их родном языке идея транспортного средства никак не выражается в подобных случаях. В "Сравнительной типологии французского и русского языков" В.Г. Гака читаем: "Объективно существующее различие между движением человека пешком и с помощью транспорта отражается в значении русских глаголов *идти* и *ехать,* но никак лексически не выражается во французском. С другой стороны, в русском языке употребляют один и тот же глагол в сочетаниях *пароход плывет, человек плывет, бревно плывет,* хотя сами по себе эти действия раз-

личны и во французском языке обозначаются разными глаголами: naviguer, nager, flotter... Семантические расхождения такого рода вызваны тем, что люди, пользуясь разными языками, по-разному членят объективный мир: каждый язык имеет свою "картину мира"" (Гак 1989: 20).

Нужно сказать, что идея "транспорта" и в русском языке не сразу получила лексическое воплощение. "Идти" в церковнославянском и древнерусском ближе к английским и французским аналогам, ср. (из церковнославянского Евангелия от Матфея): **И ѿпꙋстивъ народы, влѣзе въ корабль и пріиде въ предѣлы магдалински** – И, отпустив народ, Он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские (15. 39) (Евангелие 1993: 106–107). Или еще, может быть, более яркий пример: **И сѣющꙋ емꙋ, оба падоша при пꙋти: и пріидоша птицы и поѕобаша ѧѧ** – И когда он сеял, иное упало по дороге, и налетели птицы и поклевали то (13. 4) (там же, с. 84–85). В приведенных примерах акцентируется **результат**, а не **качество** процесса, с помощью которого он был достигнут. В том же случае, когда существенна именно идея транспорта, она без труда находит выражение, ср.: **Не съвѣда слѣда орлꙋ летѧщю по въѕдꙋхꙋ**. *Изб. XIII в.* (Срезневский III: стлб. 440).

Чтение источников показывает, что такая фундаментальная с нашей точки зрения оппозиция глаголов движения, как наличие/отсутствие направления, также не является априорным свойством глаголов типа *идти/ходить:* некогда глагол *ходить* мог описывать и однонаправленное движение, ср.: **Въ четвертꙋю же стражꙋ нощи иде къ нимъ Іисꙋсъ ходѧ по морю** – В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю (14. 25); **И видѣвше его оученицы по морю ходѧща, смꙋтишасѧ** – И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились... (14. 26); **Онъ же рече: пріиди. И излѣзъ из корабля петръ, хождаше по водамъ, пріити ко Іисꙋсови** – Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу (14. 29) (Евангелие 1993: 98–99).

Эта историческая справка призвана подчеркнуть: время может не только затемнять какие-то существенные понятия картины мира (как в случае со "светом" или же "страхом" и "ужасом"), но и прояснять их, находить для них специальное языковое воплощение.

На тему универсального и национально-специфичного в русском языковом сознании приведем пример с концептуализацией пространства при помощи дистанционных наречий: *далеко, близко, недалеко, наподалеку, вдали, вдалеке* и под. (Заметим, кстати, что в отдельную ЛСГ эти наречия оформились относительно недавно: еще в прошлом веке написание некоторых из них было неустойчивым, то слитным, то раздельным). В эгоцентрическом употреблении – когда в качестве пространственного ориентира выступает сам говорящий *(Вдали виднеются горы* – 'вдали от меня'; *Поблизости никого нет* – 'поблизости от меня') – данная ЛСГ являет целостный фрагмент пространства носителей русского языка. Подробнее об этом см.: Яковлева 1994, здесь же мы приведем лишь одну иллюстрацию.

Как показал анализ, наречия типа *вдалеке, вдали* употребляются для описания объектов, которые находятся по **горизонтали** от говорящего. Если же описываемый объект расположен по вертикали (над или под наблюдателем), о нем нельзя сказать, что он *вдали/вдалеке*. Ср. закономерность использования *далеко,* а не *вдали* в таких ситуациях: (из "Мастера и Маргариты") *В это время далеко наверху стукнула дверь. "Это он вошел", – с замиранием сердца подумал Поплавский;* (полет Маргариты) *Далеко внизу забегали люди по тротуару...* Эти и подобные факты позволяют предположить, что категория "дистанции" в русском языковом сознании тесно связана с горизонтальной ориентацией пространства, т.е. в этой области языковой семантики находит отражение "равнинное" мышление говорящих. Между тем картина пространства для языков с другой "средой обитания" (выражение Н.Д. Арутюновой) может мыслиться и иначе. Так, в будухском языке (из группы дагестанских) "стратификация по вертикальной оси... накладывается на дистанционные значения" (Крылов 1984: 140): слово может одновременно характеризовать местоположение объекта по линии близости/дальности и по вертикальной ориентации, например *аče* значит 'тот далекий, ниже меня' (там же).

2.0. В настоящее время принято выделять два основных направления изучения языковой картины мира. Здесь мы сошлемся на уже упоминавшуюся программную работу (Апресян 1995). "Во-первых, исследуются отдельные характерные для данного языка концепты... Это прежде всего "стереотипы" языкового и более широко-

го культурного сознания, ср. типично русские концепты *душа, тоска, судьба... задушевность, удаль, воля... даль, авось...* Во-вторых, ведется поиск и реконструкция присущего языку... взгляда на мир..." (Апресян 1995: 38). Остановимся на каждом из этих подходов. И заметим в предварение, что второе часто может вытекать из первого: за наличием того или иного концепта может стоять определенное языковое "мировидение".

2.1. В качестве основополагающих для современного концептуального анализа можно, по-видимому, указать на работы Анны Вежбицкой. Их тематика и общая направленность хорошо отражены в названии последней монографии, которая сейчас готовится к печати: "Понимание культур через их ключевые слова: австралийская, японская, польская и русская". Именно с Анны Вежбицкой началось систематическое изучение таких ключевых слов-понятий, как *душа, судьба, тоска, воля.*[4]

Замечание. До недавнего времени приоритет в изучении культурно-значимой лексики под углом зрения "картины мира" принадлежал этимологическим (и шире - сравнительно-историческим) дисциплинам. Именно из этих областей черпаются языковые данные для реконструкции мифопоэтической модели мира, ср. в этом плане статьи В.Н. Топорова "Модель мира", "Путь", "Пространство" и др. в энциклопедическом словаре "Мифы народов мира" (1991-1992).

Апелляция к данным истории и культуры носителей языка при описании современного словоупотребления становится необходимой и даже неизбежной, если исследователь изучает слова, соотносящиеся с "мировоззренческими концептами" (выражение Н.Д. Арутюновой).

В качестве примера подхода А. Вежбицкой сошлемся на перевод главы "Судьба и предопределение" из ее монографии "Семанти-

---

[4] Впрочем, важность описания подобного рода культурно-значимой лексики ясно осознавалась и филологами прошлого столетия. У Ф.И. Буслаева в "Материалах для русской грамматики и стилистики" мы находим очерки и наброски о "понятиях нравственных" (правда, вера, блаженство), о судьбе, душе и жизни, времени и пространстве... (Буслаев 1992). В середине нашего века Э. Бенвенист обращается к этой теме, ср. его "Словарь индоевропейских социальных терминов" (Бенвенист 1995), ср. также его очерки *"Цивилизация.* К истории слова", *"Раб* и *чужой", "Свободный человек"* (Бенвенист 1974а). В 1972 г. выходит в свет статья Ю.С. Степанова "Слова *правда* и *цивилизация* в русском языке: К вопросу о методе в семиотике языка и культуры" (Степанов 1972). Все это образцы концептуального подхода к описанию языка.

ка, культура и мышление", опубликованный в журнале "Путь" (Вежбицка 1994). Наряду с русской *судьбой,* которая, по мнению А. Вежбицкой, является "ключевым концептом русской литературы" ("Эквивалента ему нет ни в английском языке, ни в англоязычной культуре" (Вежбицка 1994: 85)), рассматриваются: польский *los,* немецкий *Schicksal,* итальянские *destino, sorte,* английские *fate* и *destiny.* Последовательный анализ контекстов, в которых употребляются эти слова, позволяет выявить серьезные социокультурные различия в понимании судьбы (а значит и жизни, случая, роли волевого и контролирующего начала...) носителями анализируемых языков.

Концептуальный анализ может проводиться не только с опорой на употребление соответствующих слов-концептов, но и на основе выделения собственно понятийных зон, в рамках которых группируются самые различные языковые средства (лексические, грамматические, интонационные). Ср. в этом плане работу Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева (1991) "Концепт долга в поле долженствования". В качестве исходного исследователи берут русский предикат *должен* в различных типах его употребления (при описании алетической, деонтической, эпистемической модальности) и по мере необходимости апеллируют к другим языковым средствам выражения тех же самых смыслов долженствования *(необходимо, надо, неизбежно, долг, обязанность* и др.).

Весьма эффективным представляется подход, при котором исследуются пары близких, но не тождественных понятий: *свобода* и *воля* (Кошелев 1991), *истина* и *правда* (Арутюнова 1991), *радость* и *удовольствие* (Пеньковский 1991), *дорога* и *путь* и др. Русский язык богат такими парами отчасти благодаря вливанию из церковнославянского,[5] отчасти благодаря процессам заимствования, а отчасти в силу разработанности исконной лексической сферы.

Замечание. Разумеется альтернативность способа выражения касается не только лексики. В этом плане весьма интересна русская безличность: наличие, скажем, таких пар, как *хочу/хочется, верю/верится...* Безличность традиционно относит-

---

[5] О "двумерности" русского литературного языка, основанной на "сопряжении церковнославянской и русской языковой стихии" см.: Успенский 1995, где это явление рассматривается именно в плане языкового мышления.

ся к области русской ментальности, ср. у о. Г. Флоровского о специфике русского исторического сознания в терминах русской грамматики: "... Нет творческого принятия истории как подвига, как странствия, как дела... В русском переживании всегда преувеличивается значение безличных, даже бессознательных, каких-то стихийных сил, "органических процессов", "власть земли", точно история совершается скорее в страдательном залоге, более **случается**, чем **творится**... Выпадает категория ответственности" (Фроловский 1937: 502). Но уже из сказанного видно, что наличие в русском языке альтернативной - личной/безличной - интерпретации действительности относится, скорее, к теме языкового мировоззрения. И об этом мы скажем в соответствующем разделе нашей работы.

2.2. Между наличием в языковом мышлении тех или иных концептов и языковым мировидением (мировосприятием) существует определенная связь. Поговорим об этом на примере концептуальной пары *правда* и *истина,* выявленной и описанной Н.Д. Арутюновой (1991).

Оговорив, что есть два представления об истине - религиозное и эпистемическое (модальное), - Н.Д. Арутюнова прослеживает соотношение в русском языковом сознании понятий правды и истины. Обнаруживается, что "правда - это... истина в зеркале жизни..." (с. 26). Именно поэтому говорят о *правде жизни* и *жизненной правде,* но не об **истине жизни*. Правда касается только одушевленного мира (мы бы сказали даже сильнее: правда социоцентрична). Можно узнать *правду о войне,* но не **правду об атомах и молекулах. Правда* о землетрясении повествует о человеческих бедах, а *истина* о землетрясении может говорить и о геофизических причинах неуравновешенности природы. "Истина имеет одного Владельца [Бога - Е.Я.]... правда - многих" (там же): *моя, твоя правда, комсомольская правда...*

Нужно сказать, что русский язык интересен не только наличием самой этой пары - *правда/истина* - но и разработанностью ЛСГ "категорической достоверности", в которой представлены в числе прочих и слова на "истину" и "правду": *поистине, воистину, истинно, подлинно, вправду* и под. В словарях они группируются вокруг нейтрального *действительно* как его экспрессивные варианты. Своеобразие слов на "истину" (их отличие от *действительно* и от слов на "правду") заключается в том, что они не используются относительно единичных фактов; являясь обобщающими модификато-

рами, слова эти подтверждают не сами факты, а справедливость оценок-образцов, сформированных **коллективным** опытом на основе **подобных** фактов. Данная модель реализуется и когда модальное слово воздействует на лексему с оценочным значением, и когда оно относится к целому предложению. Ср.: ***Иван действительно (и вправду) расщедрился*** (модальное слово подтверждает ранее высказанное в тексте, диалоге... предположение) и ***Иван поистине расщедрился*** (модальное слово сообщает, что конкретное действие, названное глаголом, может служить эталоном подобных действий).

Наличие такого рода эталонных оценок определяется культурной традицией носителей языка и является общим достоянием членов языкового коллектива. Так, "полнота" и "образцовость" для *спокойствия* есть в определении *олимпийское,* для *страстей* – в определении *шекспировские;* эталон *любознательности – детская,* а образец писательского мастерства – искусство Л. Толстого, ср.: [Чехов] *без труда с **истинно** толстовским искусством преображался в любого из своих персонажей...* (К. Чуковский). Сопроводив оценку обобщающим модификатором, говорящий неявно сообщает о том, что разделяет существующую в данной культурной традиции систему оценочных стереотипов или уж во всяком случае владеет ею.

Находясь во вводной, как правило инициальной, позиции, слова типа *поистине* выполняют роль своего рода кавычек к некогда уже высказанной и известной членам языкового коллектива мысли, например: ***Подлинно, не перевелись дураки на Руси – подлинно*** указывает, что мысль о *дураках* принадлежит к общему фонду знаний и что говорящий на собственном опыте убедился в ее справедливости: конкретный факт подтверждает общеизвестную истину. Становится понятным, почему рассматриваемые слова тяготеют к определенной форме представления знаний. Ср.: ***Действительно, им лучше остаться вдвоем.*** В рамках такого, конкретного, сообщения неуместно употребление обобщающего модификатора ***(*Воистину, им лучше остаться вдвоем)***. Однако этот запрет снимается, если то

же содержание представить не как конкретную оценку, а как общую сентенцию, например: ***Воистину**, дге двое, третий – лишний.*[6]

Существенно то, что коллективное авторство подразумевает не только общепринятость манеры выражения, но и апелляцию к особого рода действительности: мир, с которым имеет дело коллективное языковое сознание, исключает возможность верификации, к высказываниям об этом мире можно присоединяться, их можно разделять или не разделять, но к их содержанию нельзя относиться как к факту – с позиций "реализовано / не реализовано в действительности". Поэтому высказывания, сформированные на основе коллективного опыта, не могут быть использованы в контексте **опровержения**, ведь оно апеллирует к реальному миру, данному в опыте индивидуальном, ср.: *Поистине/подлинно/воистину, век живи – век учись* при невозможности: ****В действительности**, век живи – век учись* ("Истина – о действительности, но она ей не тождественна" (Арутюнова 1991: 25)).

Таким образом, наличие в русской лексике форм с основой на "истину" и "правду" ("действительность") способствует языковому отражению оппозиции коллективного/индивидуального авторства в функциональной сфере утверждения. Само это противопоставление индивидуального и коллективного в разных языках выражается по-разному (а может и вовсе не находить выражения). В русском же языке оно представлено не только в модальной сфере. О других языковых реализациях этой оппозиции см.: Яковлева 1995а.

2.3. Вообще, для русского языкового сознания чрезвычайно актуальным оказывается вопрос – **чей** опыт лежит в основе обобщения: **мой** (индивидуальный) или **их** (коллективный). По этому параметру различаются модели обобщения на "ты" (2 лицо ед. числа) и "они" (3 лицо мн. числа). В пояснение рассмотрим пример: [Мы в ресторане, приступаем к заказу блюд. Звучит фраза:] *В этом ресторане **расплачиваешься** заранее,* где выбор *ты*-формы предиката выра-

---

[6] "Ситуация истины в житейском контексте отлична от положения правды. Истина становится в нем максимой, сентенцией, резюмирующей жизненный опыт... Правда подразумевает только конкретные высказывания... истина – только общие" (Арутюнова 1991: 29-30).

жает идею 'обычно', 'как всегда'. Эта идея может быть выражена и с помощью *они*-формы: *В этом ресторане расплачиваются заранее.* Вопрос: в каком случае наличествует имплицитная маркировка личного опыта говорящего? Когда говорящий уже бывал в ресторане и на основе этого опыта сформировал обобщение? Ответ: личный опыт, индивидуальное авторство маркированы обобщающей *ты*-формой. Именно поэтому ее использование невозможно в контексте, свидетельствующем о неосведомленности говорящего, отсутствии у него какого-либо предварительного знакомства с ситуацией: мы говорим *А что если (а вдруг...) в этом ресторане* ***расплачиваются*** *заранее?* и не говорим **А что если в этом ресторане* ***расплачиваешься*** *заранее?*[7]

Такой языковой альтернативы – обобщения на *ты* (с соответствующей импликацией смыслов "свое", "близкое", "понятное", "знакомое") и обобщения на *они* (со смыслом "внешнее", "авторитарное") – может и не быть в языке, и тогда она не ясна нашему учащемуся. Например, французское *on* переводится на русский язык и с помощью *ты*-, и с помощью *они*-, и с помощью *мы*-обобщений.

Нужно сказать, что русские *ты*-формы обладают яркой диалогичностью: это всегда живая, как бы спонтанная реакция на события внешнего мира, ср. разного рода *ты* при самоописании: *Ничего не скажешь, хорош!; Смотри-ка ты, как он вырядился; Вот так и живешь – как на вулкане; Да разве здесь усидишь на месте?;* ср. также *ты* в псевдоимперативе: *А Иван и приди на семинар; Мы работай, а ты спать будешь; Не сядь я в этот вагон, мы бы с тобой никогда не встретились.*

Любопытно, что эти свойства переносных *ты*-форм – а) диалогичность и б) эмпатия – легко выводятся из прямого значения местоимения *ты*. В самом деле, *ты* – это, во-первых, показатель отчуждения от авторского "я", выход за пределы этого "я" (т.е. показатель **диалога!**), а во-вторых, *ты* – это указание на первого, ближайшего к "я" собеседника, каковым, разумеется, является само это

---

[7] Впервые эта особенность обобщающей *ты*-формы была отмечена в работе Т.В. Булыгиной (1990) "Я, ты и другие в русской грамматике".

"я" (отсюда рождается эмпатия: *ты*-мир – это свое, близкое, понятное говорящему).

Эмпатизация с помощью *ты*-форм событий и ситуаций внешнего мира – компонент (б) – отчетливо видна и при употреблении псевдоимператива: *Опять жди писем, не спи всю ночь, волнуйся, по телефону названивай* (все это "сочувственные" высказывания); *Студент экзамены сдавай, а преподаватель по театрам будет ходить* (симпатии говорящего, как сообщает императивная форма, на стороне *студента)*. Или, быть может, еще более яркий пример: *Парламент законы принимай, а мы митинговать будем.*

Замечание. В последнем случае используется еще одна местоименная форма в переносном употреблении – *мы*. Это *мы* покровительственное, авторитарное, произносимое "сверху вниз", псевдо-*мы*, как правило не включающее в свой денотативный объем 1-е лицо реального говорящего, *мы*, относимое к адресату, ср.: *Что это мы на лекции не ходим?*, адресованное ровно одному человеку; *Как поживаем?; Что у нас новенького?;* [человеку, сбрившему бороду] *Где же это наша борода?* и под.

Такое *мы* тоже "диалогично": оно звучит в живом разговоре и невозможно в заочном общении (письме, например), т.е. в тех случаях, когда нет **актуального** взаимодействия коммуникантов, и у говорящих теряется "живость реакции".

Выбор именно такой модели описания заставляет понять высказывание как выражение симпатии *парламенту* и осуждения тем лицам, которые именуются *мы*-формой (понятно, что говорящий дистанцируется от этого "мы").

В псевдоимперативе проявляется и диалогичность *ты*-форм, т.е. компонент (а): форма императива подсказывает, что субъекту ("мне", "тебе", "ему"...) **навязывается** соответствующее – трудное и неприятное – действие, оно как бы **предписывается** ему (в полном соответствии с исходной семантикой императива!) каким-то внешним и несимпатичным говорящему каузатором. Интересно, что сам этот каузатор – опять же в соответствии с первичной функцией императивной формы – обладает личностным началом[8] (это действие, поведение и пр. лица, а не проявление каких-то стихийных сил: природных, событийных).

---

[8] Ведь императив – это орудие межличностного общения: приказывать и подчиняться приказам может только лицо.

Рассмотрим в пояснение пример: *На улице дождь, опять **сидеть** дома* – инфинитив выражает модальность внешней необходимости, о характере которой сообщает предшествующий контекст. Здесь неуместно использование императивной формы *(На улице дождь. ?Опять **сиди** дома),* поскольку **не к кому** адресовать упрек. Ср. с этим другое высказывание: *Петя надел мои ботинки: опять **сиди*** (и можно: *сидеть) весь день дома.* Персонификация причины делает возможным использование императивной формы, ср. еще: *Хлеб совсем зачерствел: опять **идти** в магазин* и *Гости поели весь хлеб: опять **иди** в магазин.*

Известно, что в корейском языке формы лица потеряли свои прямые функции и по преимуществу являются показателями социальных дистанций, статуса и под. (см. об этом: Бенвенист 1974б с опорой на грамматику Рамстеда). В русском же языке, в силу наличия в языковом сознании оппозиций "я"/"не-я", "свое"/"чужое", "личность"/"коллектив"... формы лица, в том числе и личные местоимения, обладают большой прагматической нагруженностью. К вышеприведенным случаям можно добавить и номинацию себя в 3-ем лице *(Президент знает, что о нем думает народ),* даже в 3-ем лице мн. числа ***(Говорят** тебе, не делай этого; Кому **говорят**, подойди сюда; Ну, что тебе **говорили**);* использование местоимения *он* о присутствующем и мн. др. случаи. Наличие в языке самой этой возможности – транспозиции местоименных форм, их вторичного употребления – и характер прочтения соответствующих высказываний связаны, как нам кажется, с фундаментальной особенностью русского языкового мышления, а именно – с **семантичностью** русской грамматики (не только форм лица, числа, но и альтернатив при выборе именных и глагольных форм предиката: имена описывают постоянные свойства, а глаголы – актуальные и быть может временные; альтернативных синтаксических форм: личных/безличных, пассивных/активных конструкций и т.д.). Это огромная тема, и мы лишь коснемся ее на нескольких примерах.

2.4. Итак, несколько слов на тему семантичности русского синтаксиса.

2.4.1. В разных языках есть разные способы ухода от указания на субъект предложения. В русском для этого очень часто ис-

пользуется модель 3pl. *(Тебя **видели** с ней в театре)*, а в английском – пассив. Но в силу "семантичности" нашего восприятия грамматической формы, модель 3pl. не столь универсальна, как, скажем, английский пассив, ведь она несет скрытую информацию о том, что не названный субъект предложения – лицо, человек.[9] Иногда мы просто обязаны употребить подлежащее, даже продублировав семантику субъекта и в N1, и в сказуемом, во избежание смысловой неоднозначности, а то и ошибочного истолкования, ср.: *Когда я проходил мимо дачи, меня **облаяла собака.*** Здесь 'собака' упоминается дважды: и в имени, и в глаголе, но не употребить имени (подлежащего) мы не можем, ибо фраза *Когда я проходил мимо дачи, меня **облаяли*** звучит по меньшей мере двусмысленно: форма 3pl. **персонифицирует** соответствующее действие, заставляет увидеть за ним лицо или круг лиц.

2.4.2. Богатейший материал на тему семантики грамматической формы дает русская безличность. Особенно это касается тех случаев, когда возможна альтернатива, и выбор личной или безличной формы описания моделирует свою действительность, ср.: *Его **сбило** машиной/**ударило** кирпичом* и *Его **сбили** машиной/**ударили** кирпичом* (первые варианты могут быть предметом хроники происшествий, а вторые – относятся уже к уголовным делам).

Выбор безличной формы представления действительности может выражать своего рода жизненное credo, как, к примеру, у В. Розанова: *Иду! Иду! Иду! Иду! ... И не интересуюсь. Что-то стихийное, а не человеческое. Скорее **"несет"**, а не иду. Ноги волочатся. И **срывает** меня с каждого места, где стоял.* Ср. в этом плане розановское *не хочется* и лермонтовское *хочу* (в каждом случае выбранный способ описания является единственно возможным): *О мое "не хочется" разбивается всякий наскок. Я почти лишен страстей. "Хочется" мне очень редко. Но мое "не хочется" есть истинная страсть. От этого я так мало замешан, "соучаствую" миру* (В. Розанов. Опавшие листья); *Хочу я с небом примириться, // Хочу*

---

[9] И.А. Мельчук (1974) называет эту грамматическую конструкцию "синтаксическим нулем" лица.

любить, хочу молиться, // Хочу я веровать добру (М. Лермонтов. Демон).

Наблюдение за возможностями "обезличивания" – трансформацией модели SN1 + Vf в модель SN3 + Vimpers *-ся (Я хочу – Мне хочется)* позволяет заметить, что исходным пунктом безличной модели, субъектом предложения, является лицо, человек, ср.: ***Ему** сегодня работается; **Маше** не сидится на месте* при невозможности ***Трактору** работается; **Птице** не сидится на ветке*. Причем лицо это мыслится не как носитель воли, "контролер" ситуации, а, скорее, как носитель сознания, "духа", как некая духовно-душевная целостность. И обезличивание действует как раз по линии редукции духовной "надстройки" (сознания), акцентируя душевное начало, ср. знаменитую фразу из "Идиота" *Парфен, не верю!,* в которой "личный" синтаксис играет роль речевого действия, способного отвести занесенный над жертвой нож, и ... *Не верится,* где безличная форма обозначает некий внутренний разлад.[10]

Тезис о языковой релевантности признака "личность", понимаемого как "индивидность", духовно-психическая целостность, подтверждают примеры невозможности обезличивания в тех случаях, когда субъект не обладает названными характеристиками, ср.: (субъект не лицо) *Наш мир отвергает эту идею, не хочет ее* (В. Розанов) – **миру не хочется этой идеи; Судьба не хочет нам помочь – *судьбе не хочется...;* (субъект не индивид) *Наш Институт не хочет поддерживать этот проект – *нашему Институту не хочется...;* (субъект – часть, а не целое) *Ноги не хотят идти, сердце не хочет работать, глаза на эту жизнь смотреть не хотят – *ногам не хочется идти, *сердцу не хочется работать, *глазам не хочется смотреть на эту жизнь.*[11]

Приведенные примеры, как кажется, коррелируют с материалом, приведенным в (2.1): и то, и другое позволяет говорить о кате-

---

[10] Интересный опыт прочтения известной работы Ю.С. Степанова (1978) "Иерархии имен и ранги субъектов" на материале русских безличных предложений представлен в статье Певневой (в печати (а)). Результаты Т.И. Певневой совпадают и во многом дополняют сказанное в настоящей статье.

[11] Русское *хочется* замечательно проанализировано Т.И. Певневой (в печати (б)).

гории лица как об одной из особо важных для русского языкового сознания. При этом описание лица (личности) в традиционных терминах категориальной семантики типа "воля", "контроль" на русском языковом матриале, как минимум, нуждается в уточнении.

2.5. И в залючение еще об одной фундаментальной для русской языковой картины мира особенности, а именно – о качественной спецификации времени: время – как вместилище событий – является другим названием для жизни, а жизнь мыслится и описывается в категориях времени *(мгновений, эпох, моментов...)*. Подробно об этом явлении см.: Яковлева 1994, здесь же мы хотим указать на некоторые существенные для русской языковой картиы времени моменты.

Прежде всего, тема времени заставляет нас говорить не о "наивной физике" (по аналогии с "наивной геометрией" языкового пространства), а о истории, культуре носителей языка, время в полном смысле слова принадлежит к духовно-культурной картине мира. Яркой иллюстрацией языковой релевантности духовно-культурных представлений является судьба такого слова, как *час*.

В русской языковой картине времени *час* занимает особое место. Сравнение с типологически близкими – английским, французским – языками показывает, что русский *час* в существенной степени наследует специфику "часа" Нового Завета ("часа" Иисуса) и является манифестантом того типа "трудного" пути, который связан с искуплением (это как раз тот случай, когда слово хранит память о тексте как о прототипическом источнике). Отсюда такие характеристики *часа,* как "персоноцентричность", "духовность". В русском языке соответствующая семантика отразилась не только во фраземах типа *пробил час, последний час,* она определяет и общий механизм употребления этого слова. Мы говорим *час потери* (но не *утери, пропажи), час обретения* (но не *приобретения), час постижения* (но не *уяснения, уразумения). X*-ми при *часе* не могут быть названия событий, ситуаций, исключающих осмысление в перспективе "пути", "духовного роста". Ср. в связи с этим следующие противопоставления: *час смирения,* но не *упрямства, час прощения,* но не *осуждения...* Духовному времени чужды и разного рода утили-

тарные понятия, поэтому может быть *время* (а не *час!) здравого смысла, торжества практицизма, бережливости...*

Исследование текстов Евангелий на греческом, латинском, церковнославянском и русском языках и выявление в них строгой последовательности при переводе новозаветного "часа" (ὥρα) позволяет усмотреть в этом слове особую терминологическую значимость – соотнесенность с общей системой языка времени в Библии. Анализ же этого языка приводит к двум ключевым названиям времени: ветхозаветному *дню* и новозаветному *часу.*[12]

День в Библии – это универсальная единица описания времени-жизни, *день* – и орудие в руках Господа, и мера человеческого существования *(Дней наших – семьдесят лет* (Пс. 90.10)). Если *день* является носителем "родо-временной" перспективы, то *час* открывает перспективу личностную. В силу такого понимания о *дне* можно говорить, что он описывает время **внешнего** пространства бытия, а о *часе* – что он открывает возможность описания времени **внутреннего** созерцания, времени индивидуальности и личности, времени как духовной категории.

Таким образом, культурно мотивированные и взаимно соотносящиеся между собою в некоем исходном Тексте *час* и *день* задают две различные проекции описания жизни в терминах времени, и граница, условно говоря, проходит именно между этими временными показателями, а именно – *час* (а также *мгновение, миг, минута)* проецируют события на внутренний мир: душевный, духовный, представляемый; в системе временных показателей именно они предназначены для описания ментального плана человеческого существования; *день* же (как и *дни, времена, век, эпоха, годы, лета...)* описывают мир внешний: социальный, возрастной, природный, культурно-исторический; их назначение в системе языка времени-жизни – описывать "вещный" план человеческого бытия.

Последняя группа слов, называющих "вместилища" событий, в русском языке обладают интересной семантической дифференциацией: *времена* выступают как внешняя сила, формирующая и влияющая на события, это время **активное,** ниспосылающее (ср. из

---

[12] Подробнее об этом см.: Яковлева 1995в.

влияющая на события, это время **активное,** ниспосылающее (ср. из "Слова о полку Игореве": *худо времена обернулись...); век* – результат этого формирования (это время как совокупность поколений); *эпоха* же в русском языке, в силу того, что это заимствованное (и достаточно поздно!) слово, является искусственным, вторичным определением временного периода – с опорой на культурно-историческое содержание и особую значимость для субъекта.

Важной чертой времени, которое находит языковое отражение в семантике соответствующих слов-названий, является **антропоцентричность.** Рассмотрение темпоральной лексики в аспекте возможностей описания по линии живое/неживое (предметное); люди/не-люди (растительный vs. животный) мир; взрослый (личность)/невзрослый и под., как кажется, может послужить таксономической основой концептуальных характеристик времени в русском языковом мышлении.

ЛИТЕРАТУРА

Апресян, Ю.Д. 1974, *Лексическая семантика. Синонимические средства языка.* М.

Апресян, Ю.Д. 1986, Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира. *Семиотика и информатика,* вып. 28. М.

Апресян, Ю.Д. 1995, Образ человека по данным языка: Попытка системного описания. *Вопросы языкознания* № 1.

Арутюнова, Н.Д. 1991, Истина: фон и коннотации. В кн.: *Логический анализ языка. Культурные концепты.* М.

Бенвенист, Э. 1974а, Лексика и культура. В кн.: Бенвенист, Э. *Общая лингвистика.* М.

Бенвенист, Э. 1974б, Структура отношений лица в глаголе. В кн.: Бенвенист, Э. *Общая лингвистика.* М.

Булыгина, Т.В. 1990, Я, ты и другие в русской грамматике. В кн.: *Res philologica. Сб. трудов памяти Г.В. Степанова.* М.

Булыгина, Т.В. – Шмелев, А.Д. 1991, Концепт долга в поле долженствования. В кн.: *Логический анализ языка. Культурные концепты.* М.

Буслаев, Ф.И. 1992, *Преподавание отечественного языка.* М.

Вежбицка, А. 1994, Судьба и предопределение. Пер. Р.И. Розиной. *Путь* № 5.

Гак, В.Г. 1989, *Сравнительная типология французского и русского языков.* М.

Даль, В.И. 1989, *Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х тт.* М.

Дьяченко, Гр. 1993, *Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских выражений).* М.

Кошелев, А.Д. 1991, К эксплицитному описанию концепта "свобода". В кн.: *Логический анализ языка. Культурные концепты.* М.

Крылов, С.А. 1984, К типологии дейктических систем. В кн.: *Лингвистические исследования. Типология. Диалектология. Этимология. Компаративистика.* Ч. 1. М.

ЛЭС - *Лингвистический энциклопедический словарь.* М., 1990.

Мельчук, И.А. 1974, О синтаксическом нуле. В кн.: *Диатезы и залоги.* Л.

Мифы народов мира - *Мифы народов мира. Энциклопедический словарь в 2-х тт.* Изд. 2-е. М., 1991.

Ожегов, С.И. 1970, *Словарь русского языка.* М.

Певнева, Т.И. в печати (а), К вопросу о субъекте безличного предложения. *Вестник МГУ.*

Певнева, Т.И. в печати (б), Особенности желания в безличном выражении. *Русистика сегодня.*

Пеньковский, А.Б. 1991, *Радость* и *удовольствие* в представлении русского языка. В кн.: *Логический анализ языка. Культурные концепты.* М.

Плунгян, В.А. 1991, К описанию африканской "наивной картины мира" (локализация ощущений и понимание в языке догон). В кн.: *Логический анализ языка. Культурные концепты.* М.

Срезневский, И.И. 1893-1912, *Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам I-III.* Спб.

Степанов, Ю.С. 1972, Слова *правда* и *цивилизация* в русском языке: К вопросу о методе в семиотике языка и культуры. *Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.* т. 31, № 2.

Степанов, Ю.С. 1978, Иерархии имен и ранги субъектов. *Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз.* т. 37, № 4.

Топоров, В.Н. 1983, Пространство и текст. В кн.: *Текст: семантика и структура.* М.

Топоров, В.Н. 1995, *Святость и святые в русской духовной культуре 1: Первый век христианства на Руси.* М.

Успенский, Б.А. 1995, История русского литературного языка как межславянская дисциплина. *Вопросы языкознания* № 1.

Флоровский, Г.В. 1937, *Пути русского богословия.* Париж. (Репринт. Вильнюс, 1991.)

Яковлева, Е.С. 1994, *Фрагменты русской языковой картины мира (модели пространства, времени и восприятия).* М.

Яковлева, Е.С. 1995а, *Очень* как показатель индивидуального авторства. В кн.: *Клише и культурные стереотипы. Сб. тезисов.* М.

Яковлева, Е.С. 1995б, *Час* в русской языковой картине времени. *Вопросы языкознания* № 6.

Яковлева, Е.С. 1995в, *День* и *час:* время Ветхого и Нового Завета. В кн.: *Сотворение мира и начало истории в апокрифической и фольклорной традиции (на материале славянских и еврейских текстов). Сб. тезисов.* М.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 117-122.

ПОЗІРНЕ СЛОВ'ЯНСЬКЕ БОЖЕСТВО РАДОГОСТ: ОНОМАСТИЧНИЙ РОЗГЛЯД ПСЕВДОТЕОНІМА[1]

Микола Іванович Зубов

(Николай Иванович Зубов, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék. H-6722 Szeged, Egyetem u. 2. - Одесский госуниверситет, Кафедра общего и славянского языкознания. Украина, 270056 Одесса, Французский бульвар 24/26)

Сучасні дослідники включають бога на ім'я *Радогост* до пантеону західних слов'ян без усяких застережень (див., наприклад: Иванов-Топоров 1965: 36 та роботи інших авторів). Але ще не так давно висловлювались серйозні сумніви щодо дійсного існування божества з таким іменем у язичницькиий період. Висунуті на користь цього твердження аргументи не були ніким спростовані, не аналізувалися пізніше, а просто з часом підзабулися під впливом більш авторитетних оцінок. У той же час факти мають такий характер, що до цієї проблеми варто повернутися ще раз.

Перше свідчення про бога Радогоста належить німецькому хроністу Адаму Бременському, епіскопу міста Мерзебург, який в одному місці своєї відомої хроніки (кінець XII ст.) пише про землі слов'янського племені редарів, їхню метрополію місто Ретра та їхнього головного бога Радогоста. Із хроніки Адама Бременського дані про бога Радогоста потрапили у твори пізніших хроністів, у тому числі і до також добре знаної "Слов'янської хроніки" Гельмольда.

Але справа в тому, що й сам Адам Бременський міг у своїх свідченнях використати ще одне джерело початку XII ст. - не менше відому хроніку Титмара. Сам Титмар також був епіскопом мерзебурзьким, одним із попередників Адама Бременського. Титмар про тих же слов'ян повідомляє, що "є місто в землі редарів, яке називається Радогощ" і що в цьому місті поклоняються головному богу Сварожичу (Thietmar, p. 17).

---

[1] Про класифікацію теонімів щодо їх вірогідності див.: Зубов 1994б.

На цю невідповідність свідчень одного автора початку XII ст. і другого автора кінця цього ж століття звернув увагу ще у 1807 р. один із перших видавників хроніки Титмара – І.-Х. Вагнер, який відзначив, що Титмар помилково переплутав ім'я ідола *Рідегост* і зробив з нього назву міста (vide: Dithmar, p. 150). Пізніше видатний чеський славіст Л. Нідерле, коли говорить про слов'янське плем'я лютичів (інша його назва – редарі), то пише, що "населялись вони навколо міста, що початково називалось Рідегост..., пізніше Ретра, де знаходився відомий храм бога Сварожича Радогоста з оракулом..." (Нидерле 1956: 115).

Ця думка, як можна зрозуміти, базується на свідченнях Титмара і Адама Бременського і є своєрідним синтезом цих свідчень. Звідси усталюється традиція ототожнювати богів Радогоста і Сварожича, а оскільки ім'я *Сварожич* з боку форми дорівнює патронімічним утворенням, то виникає ціла генеалогія Радогоста.

Непримиренний і енергійний опонент Л. Нідерле польський вчений О. Брюкнер висловив у цьому зв'язку іншу думку: Адам Бременський, повторюючи Титмара, грубо помилився, бо "зсунув назву землі редарів, міста Радогощ, божества Сварожич і одержав плем'я редарів, місто Ретру [та ж сама назва в іншому написанні!]; ім'я божества, якому поклонялися в місті Радогощ, випало. А слідом за Адамом Бременським цю помилку повторили Гельмольд та інші. Так на слов'янський Олімп було виведено позірне божество Радогост..." (Brückner 1924: 27).

Приблизно через двадцять років до цього питання повернувся С. Урбаньчик, який теж відзначив розбіжність у Титмара і Адама Бременського з приводу одного й того ж культу в одному й тому ж місті і констатував, що "Брюкнер не знайшов визнання своєї тези, до того ж критика джерел вище ставить Адама Бременського, аніж Брюкнера, і таким чином усталився погляд, що Адам Бременський Титмара не читав, а через це не можна розцінювати його свідчення як вторинні" (Urbańczyk 1947: 19). Сам С. Урбаньчик пропонує компромісне вирішення питання: "Радогощ – це назва міста, де знаходилась святиня, а походить сама назва від імені *Радогост*, яке могло бути, власне кажучи, другим іменем, прізвиськом Сварожича (як покровителя гостей?)" (там же).

Таким чином, слід підкреслити: **безпосередніх доказів із джерел відносно того, що місто послідовно мало дві назви і що головне божество тут мало подвійне ім'я *Сварожич-Радогост*, дослідники не наводять**. Ця думка спирається лише на гіпотези і припущення, підкріплені авторитетами і науковою традицією.

Ономастичний підхід до проблеми з урахуванням усієї низки фактів дає певну змогу підсилити критичну думку щодо існування теоніма *Радогост* у слов'ян.

По-перше, Титмар був знайомий з місцевим слов'янським діалектом, а тому "міг краще написати латинськими буквами слов'янські назви, ніж хто інший; а оскільки хроніка його збереглася в оригіналі, то слід звернути увагу на саме написання в ній місцевих і особових назв..." (Фортинский 1872: 161).[2]

По-друге, для цих же слов'ян теонім *Сварожич* засвідчується і іншими незалежними джерелами, наприклад, одним із листів св. Бруно до імператора Генріха II (vide: Monumenta, p. 226). З іншого боку, це ж слово *сварожич* використовувалось як назва ритуального вогню в язичницькому вжитку Київської Русі, про що повідомляють церковні пам'ятки, спрямовані проти пережитків язичництва в народі (див., наприклад: Тихонравов 1862: 89). А це значить, що свідчення Титмара про бога Сварожича є достовірними. Більше того, хроніст у зазначеному вище місці називає його **головним** богом, що дотично говорить на користь відсутності "батька"[3] (інакше він мав би бути головним богом).

Далі необхідно звернути увагу на те, що в тих же місцях західних слов'ян, де знаходилось місто Радогоща, середньовічні джерела називають міста Будогощ, Волігощ, Гологощ та інші. Е. Ейхлер на ті ж часи і приблизно для тих же місцевостей наводить топоніми *Schorgast, Trebgast* від **Skorogost* і **Trebogost* (Eichler 1988: 58).

---

[2] Принагідно нагадаємо, що латиниця того часу не має графічних засобів для передачі слов'янського звука (чи звукосполучення), що відповідає букві *щ* у кирилиці: тобто латиномовні хроніки не могли на письмі розрізнити особову назву *Радогост* та топонім *Радогощ* і їм подібні.

[3] Наш критичний аналіз можливостей язичницьких божественних генеалогій у слов'ян див.: Зубов 1982, 1994а.

Це включає назву *Радогощ*, наведену Титмаром, у ономастичну ізоглосу і тим самим підсилює достовірність саме її топонімічного, а не теонімічного рангу. Далі ця ізоглоса має продовження і на територіях східних слов'ян: топоніми *Радогоща* на Чернігівщині, *Радогоща* на Житомирщині, *Мала Радогоща* (дві назви) і *Велика Радогоща* в Хмельницькій області, *Будогоща* на північно-західному терені Росії.

Топоніми цього типу з фіналією *-гощ* походять, як переконливо показав В.П. Загорський (Загорский 1975; див. також: Галас 1969) від композитних антропонімів із фіналією *-гост* і є посесивними утвореннями, оформленими за допомогою суфікса *-j-*: наприклад, *Будогост+j → Будогощ(а)*, тобто поселення Будогоста (або належить Будогосту) і т.п. Отже, назва слов'янського міста *Радогощ*, яку наводить Титмар дійсно вказує на певну належність міста якійсь особі на ім'я *Радогост*. Але чи йдеться про божество, як про це думають сучасні дослідники?

Крапку над *і* може, на наш погляд, поставити зіставлення слов'янської антропонімії і теонімії. Яскравим показником рівня розвитку релігійного культу певного культурного кола є наявність у ньому так званих теофорних (тобто таких, що включають ім'я божества) антропонімів: згадаємо, наприклад, грецький антропонімікон з такими його іменами, як *Артемідор* 'дар Артеміди' або *Зінаїда* 'дочка Зевса' тощо. У цьому відношенні впадає у вічі, що слов'яни загалом не знають своїх властивих теофорних антропонімів. Поодинокі випадки, які наводять іноді дослідники як власне слов'янські теофорні антропоніми, піддаються іншому і більш вірогідному тлумаченню. Так, антропонім *Богдан* є калькою відповідного грецького антропоніма (Успенский 1969: 204). Середньовічне сербське ім'я *Хрс*, яке Р. Якобсон пов'язує з теонімом *Хорс* (Якобсон 1970: 617), насправді є грецьким запозиченням із Χρυσός, Χρύσης = *Златан*, на що вказує В. Георгиев (Георгиев 1970: 473). Схоже українське ім'я *Хурс* фактично є закономірним рефлексом антропоніма *Фурс* (Худаш 1977: 13). Зафіксований 1585 року у Псковській Писцевій книзі російський антропонім *Мокоша Хлопотун* відноситься, за нашими спостереженнями, до теоніма *Мокош* далеко опосередковано через стадію *мокоша* – 'домовий дух, що піклується гос-

подарством' (ступінь редукції давньоруської богині Мокош) з подальшим переносом назви на людину як її характеристики: пор. ярославське діалектне *мокоша, мокуша* – 'клопітлива, клопітка людина'. При цьому друга частина імені *Хлопотун* є симптоматичною.

Слід відзначити і те, що слов'янські язичницькі культи не набули елементів теократії, через що слов'янські теоніми не потрапляють у назви населених пунктів: топонімічні сліди слов'янського язичництва обмежуються здебільшого назвами урочищ і їм подібних місць (скажімо, *Перинь* поблизу Новгорода або літописна *Перунья рѣнь* – відмілина Дніпра, куди течією прибило скинутого в річку ідола Перуна).

У такому разі власна назва *Радогост,* коли розглядати її як теонім, є явним винятком. За нашими спостереженнями, "Славянский именослов" М. Морошкіна (Морошкин 1867) нараховує до півтори сотні антропонімів із коренем *-рад*. За питомою вагою це чи не найбільший обсяг антропонімів у словнику, охоплених єдністю кореня. З іншого боку, слов'янський антропонімікон має досить велику кількість антропонімів з кореневим елементом *-гост* у препозиції та постпозиції композитних утворень, а також у самостійному вжитку. За тим же джерелом їх нараховується понад 50 одиниць. При такій частотності і продуктивності зазначених антропооснов закономірно виявляються антропоніми *Гостирад* (1052 р.) та *Редигост, Радгост* (1226 р.). Важливо зазначити, що зафіксовані вони саме у західних слов'ян (Морошкин 1867: 63, 162), хоча, поза всяким сумнівом, знані такі антропоніми також у східних слов'ян: пор. наведені вище українські топоніми типу *Радогоща.*

На цьому тлі **теонім *Радогост*** мав би явно аномальний вигляд: по-перше, він співпадав би з поширеним у слов'ян антропонімом, по-друге, він фігурував би в назві одного з головних міст західних слов'ян. Але, як показують наведені вище міркування, це протирічить відомим фактам, коли до них підходити в їхньому системному вияві.

Таким чином, системно-ономастичний розгляд проблеми дає вагомі підстави трактувати наведений Адамом Бременським теонім *Радогост* як помилку хроніста, яка виникла внаслідок необережного використання якогось першоджерела на зразок того, що ми бачимо

у Титмара. Отже, теонім *Радогост* радше є псевдотеонімом, аніж власним іменем правдивого слов'янського божества.

ЛІТЕРАТУРА

Галас, К.Й. 1969, До питання про топонім Гоща. *Мовознавство* № 2.

Георгиев, В. 1970, Трите фази на славянската митология. В кн.: *Сборник в чест на Михаил Арнаудов.* София, 469–475.

Загорский, В.П. 1975, Происхождение географических названий на *-гощь.* В кн.: *Теория и практика топонимических исследований.* Москва.

Зубов, Н.И. 1982, Проблема генеалогии Киевского пантеона в ономастическом освещении. В кн.: *Русское языкознание.* Вып. 4. Киев, 14–21.

Зубов, Н.И. 1994а, Дажбог, Сварог і вогонь-сварожич: із історії давньоруської міфологічної лексики. *Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica* XXIII. Szeged, 93–102.

Зубов, Н.И. 1994б, Теонимия древнерусская. В кн.: Трубачев, О.Н. (ред.) *Русская энциклопедия. Русская ономастика и ономастика России. Словарь.* Москва, 221–227.

Иванов, В.В. – Топоров, В.Н. 1965, *Славянские языковые моделирующие семиотические системы.* Москва.

Морошкин, М. 1867, *Славянский именослов, или собрание славянских личных имен в алфавитном порядке.* Санкт-Петербург.

Нидерле, Л. 1956, *Славянские древности.* Москва.

Тихонравов, Н.С. 1862, *Летописи русский литературы и древности.* Т. 4. Москва.

Успенский, Б.А. 1969, *Из истории русских канонических имен.* Москва.

Фортинский, Ф.Я. 1872, *Титмар Мерзебургский и его Хроника.* Санкт-Петербург.

Худаш, М.Л. 1977, *З історії української антропонімії.* Київ.

Якобсон, Р. 1970, Роль лингвистических показаний в сравнительной мифологии. В кн.: *VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. Август 1964 г. Москва.* Т. 5. Москва.

Brückner, A. 1924, *Mitologia polska.* Warszawa.

Dithmar – *Dithmari episcopi merzeburgensis Chronicon.* Norimberge, 1807.

Eichler, E. 1988, Probleme namenkundlicher Etymologie in slawischen Ortsnamen. Teil V. Zum Götternamen *Mokoš* im Altsorbischen. *Onomastica Slavogermanica* XVII. Berlin.

Monumenta – *Monumenta Poloniae Historica.* T. 1. Lwow, 1864.

Thietmar – Thietmari chronicon. In: *Monumenta Germaniae Historica,* ed. Peretz. T. III. 1839, 723–871.

Urbańczyk, St. 1947, *Religia Pogańskich Słowian.* Kraków.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 123-131.

ПСИХОСЕМИОТИКА

Сергей Анатольевич Красножен

(Одесский государственный университет, Кафедра русского языка
Украина, 270021 Одесса, ул. Петра Великого 2)

Семиотика, являясь гуманитарной научной дисциплиной, при первом знакомстве производит несколько безжизненное впечатление. И хотя многое зависит от автора и от области применения, все же ранняя семиотика, действительно, ограничивалась одним лишь изучением знаковой системы как таковой вне ее связи с гуманитарными науками и самим процессом означивания. Эта неполнота была относительно быстро замечена (например, А.Ж. Греймасом и Ж. Курте (1983)), но уже после того, как Р. Барт в своих трудах (1989) сделал попытку придать семиотическому анализу "человеческое лицо" (подвергшись за это критике в интуитивности, отсутствии строгой концептуальной дисциплины воображения и т.п.). Но была (да и сейчас, пожалуй, наблюдается) еще одна, вполне закономерная для раннего этапа этой науки черта – ее невнимание к индивидуальным процессам семиозиса, отсутствие "психосемиотики" (в противоположность "социосемиотике" как анализу социальных коннотаций). У Барта это было преодолено в работах: он писал не только о чужих произведениях, но писал и себя, достаточно будет такого примера: "Удовольствие от текста можно определить... как тип практики, предполагающий определенное время и место чтения: загородный дом, провинциальное уединение, близящийся ужин, зажженная лампа, домочадцы, пребывающие там, где им надлежит быть, – за стеной и в то же время под боком... Такое удовольствие может быть **высказано:** оно-то порождает литературную критику" ("Удовольствие от текста"). В традиционной манере об этом можно было бы сказать: "Человеческой теплотой веет... и т.д.". Выражаясь научным стилем, это – индивидуальные коннотации (их существование предполагал уже Ельмслев). И то, и другое верно и правомочно. Все дело в том, чтобы, не умертвив человеческого смысла, попытаться его (по возможности научно) осознать. Критерий научности семиотики,

по словам Греймаса и Курте (1983), состоит в непреклонном требовании существования эксплицитной теории, объясняющей данную семиотику, то есть речь идет о том же осознании; результаты осознания (это слово, между прочим, употребляется как термин в психологии и нейробиологии) могут быть сформулированы на естественном языке (обычное парафразирование на естественном языке часто используется в современной семантике как язык описания), но должны иметь вид аксиоматической системы.

Аксиоматика внешнего мира давно уже научно легитимирована – это евклидова геометрия и ньютоновская физика, описывающие четырехмерное время-пространство. Аксиоматика внутреннего мира человека закономерно формулируется позже на основе донаучной формы осознания – вербальных символов, использующих наглядные представления о внешнем мире: "горе" от "жар, гореть"; "страх" от "цепенеть, коченеть" и т.д. Это, по всей вероятности, то, на чем и придется остановиться: даже специалисты по человеческому мозгу пишут, что никакие описания психофизиологических механизмов на дают нам адекватного представления о том, что человек **чувствует** при этом. С другой стороны, без аксиом, некоторого набора априопрных положений, не обходится никакая наука. Наша психика работает в другом, уже не четырехмерном мире – вспомним энергетическую концепцию психики П. Жане (1984), унаследованную К.Г. Юнгом (1991).

Интересно, что пишет о Достоевском С.В. Белов (1985): писатель благодаря особому ритму своего романа ("Преступление и наказание") создал новую геометрию искусства, дополнив евклидовский трехмерный мир "четвертым измерением" – духовностью. И это не просто очередная реминисценция. В литературном произведении действительно явственно прослеживаются два яруса – фигуративизации (символизации ядерных смыслов) и иконизации, ответственной за иллюзию референции к реальному миру (Греймас–Курте 1983).

Сама семиотика по отношению к проблеме референции делится на две основные традиции – европейскую (Соссюр, Ельмслев) и американскую (Пирс, Огден и Ричардс). Первая требует исключать референт, субстанцию из знакового анализа как дополнитель-

ные к планам языка (означающему и означаемому), гетерогенные переменные величины. Традиционно референцией всегда занималась логика: это отношение знака к реальной действительности, выраженное в терминах истинности/ложности. Человек же, образно говоря, ищет счастья, а не справедливости, внутренняя адаптация ("быть самим собой") для него часто важнее, чем адаптация внешняя, в лице которой предстает и приспособление к миру культуры. Здесь в более выгодном положении оказывается европейская (французская и швейцарская) семиотическая традиция, анализирующая связь (ассоциативную - по Соссюру - и взаимно пресуппозитивную - по Ельмслеву) означаемого и означающего; смысла, психического образа и звукового (для естественного языка) образа - то, что называется сигнификацией (ее отличие от референции установили еще древние стоики). Европейская семиотика в этом отношении личностнее, "интимнее" американской, философичнее, можно сказать. Как известно, понимание мира - основная цель не только науки, но и религии, искусства, философии. Однако для последних оно связано с восприятием внутреннего порядка и единства хаотического мира нашего опыта (М. и И.Ф. Голдстейны 1984).

Именно к проблеме означаемых, личностных смыслов, сводится, главным образом, проблема подобного "внутреннего" понимания, само(о)сознания. Лингвистов давно волновало то, что выражено в знаменитой формуле Блумфилда: смысл существует, но мы не можем сказать о нем что-нибудь осмысленное. Поэтому, в противоположность детальнейщим образом разработанному плану означающего, план означаемого ускользал от позитивного изучения. Греймас и Курте (1983) пишут, что прорыв здесь произошел после настоящей революции в умах: если ранее лингвисты были уверены, что они описывают "факты" языка, то потом стало ясно, что лингвистика - это лишь теоретический конструкт, стремлящийся объяснить явления, иначе (и непосредственно) не достижимые. Иначе говоря, это все тот же метод моделирования, "черного ящика". Традиция Соссюра-Ельмслева находится уже в этом русле: значение есть создание и/или понимание "различий", и семиотическая теория (которая с самого начала должна представлять собой то, что она есть, а именно теорию значения) должна объединить все понятия,

которые сами по себе неопределяемы, для определения элементарной структуры значения.

То же – и с индивидуальными, личностными смыслами: осознать их можно, лишь объединив в некий осознаваемый личностный универсум, и уже после этого произойдет подобное создание и/или понимание различий (великолепный образец такой "внутренней структурации" и синтеза можно видеть в романе Ж.-Ш. Гюисманса "Наоборот"). Важно, что эти различия основаны на безусловной практической (в той же мере, как евклидова геометрия) аксиоматике – физиологической и социальной достоверности основных эмоций (страх, гнев, удивление, радость) – естественно, если иметь в виду здоровую психику. Каждый из нас прекрасно "знает", что ему нравится, а что – нет. Психологи отмечают **исключительность** эмоций по отношению к другим состояниям и реакциям организма – это абсолютный сигнал полезного или вредного воздействия на него, возникающий даже раньше, чем определены локализации воздействия и конкретный механизм ответной реакции (Анохин 1984). Однако нельзя включать в указанную "эмоциональную аксиоматику" эмоции сложные, производные (от особенностей данной культуры, общественных стереотипов), такие как, например, стыд, чувство вины, зависть и др. Весь этот "выход в психологию", мы думаем, не нарушает строгости семиотического анализа (даже в такой трудноулавливаемой сфере, как психосемиотика), по следующим причинам. Установление различия основных, первичных, и производных, вторичных, эмоций во многом опирается как раз на семиотический (пусть и не всегда осознаваемый) анализ культуры, в том числе языка, а именно в нем эксплицитно проявляются этнокультурные различия, даже психологические эксперименты с представителями разных наций включают процедуру словесного опознания (Блум–Лейзерсон–Хофстедтер 1988). И, напомним, речь идет об аксиомах, принимаемых без доказательств, психология же в данном случае оперирует самоочевидными фактами. Наконец, последнее: эмоциональные состояния представляют собой все тот же "трудноуловимый смысл", означаемые, развести которые на базовом уровне аксиоматики без помощи сущностного анализа, очевидно, невозможно.

Почему же все-таки для описания индивидуальных смыслов применим семиотический метод и что он здесь может дать? Герменевтика, например, не задается вопросом о выработке метаязыка описания культуры. Это, таким образом, не "надкультурная" (объяснительная) парадигма, а один из реализованных в культуре вариантов. Напротив, для семиотики в строго научном смысле метаязык - наиболее острая проблема. Первоначальное обозначение "семиология" теперь оставлено за такой семиотикой, которая трактует описание означаемого просто как проблему парафразирования. Собственно семиотика идет дальше: чтобы избежать субъективности, она устанавливает для парафразы определение правила и анализирует парафрастическое описание - его результаты должны быть последовательным и адекватным конструктом. При этом речь не идет о "неподобающем господстве лингвистики", но об общих условиях научной деятельности (Греймас-Курте 1983).

Базовыми научными понятиями в семиотике служат дихотомии Соссюра (1977): означаемые/означающие, язык/речь, парадигматика/синтагматика, синхрония/диахрония. Мы пытаемся по возможности без натяжек очертить их значние для проблемы самосознания.

Начнем с базовых структур психики, описанных Юнгом (1991) как архетипы. Фактически Юнг за огромным многообразием означающих (в мифологии, психиатрии, астрологии, религии, сновидениях) уловил многократное повторение неких общих глубинных смыслов, означаемых. Можно также утверждать, что Юнг вывел из корпуса текстов, синтагматических образований порождающую их парадигму. Однако Юнг, насколько нам известно, терминологически не разграничивал архетип как коллективную, виртуальную (скрытую, потенциальную) сущность (по-соссюровски - "язык") и его индивидуальное, личностное, актуальное проявление (соответственно "речь"). Он писал о "специфической форме", носящей "более или менее личностный характер", и "коллективной общей форме" ("Подход к бессознательному"). Поэтому личностные проявления архетипов уместно было бы обозначить каким-то особым термином, например, "личностный смысл", в котором слово "смысл" вполне отвечает обозначаемому феномену, а словосочетание в целом употребляется в психологии с довольно близким значением эмоцио-

нальной проекции личности на явления окружающего мира. Если быть совсем уж точным, то актуализация происходит на двух уровнях – социальном и индивидуальном, личностном. С другой стороны, индивидуум способен осознать свою ценностную парадигму, аксиологию, исходя из всего необъятного корпуса своей индивидуальной синтагматики, текстов в широком смысле термина (линейных последователей): речевых произведений, поведения, ритуалов и т.д. И точно то же происходит на уровне общества в целом, выразителем ценностных парадигм которого является идеология (в смысле Греймаса и Курте (1983)). Наверное, наибольшая ценность семиотического метода заключается в том, что с его помощью можно выявить за бесчисленными проявлениями существование некоего набора конечных скрытых значимостных сущностей.

И еще. В архетипах явственно проглядывает дихотомия врожденного, онто- и филогенетического (диахронического) и функционального (синхронического). Юнг (1991) писал, что мифологические мотивы часто скрыты за современным образным языком: вместо Зевсова орла или птицы Рок выступает самолет, вместо сражения с драконом – железнодорожная катастрофа, а хтоническая Мать может явиться в образе толстой торговки овощами ("Психология и поэтическое творчество"). Это высвечивает и другую проблему – фетишизма как отождествления имени с обозначаемым им предметом или лицом, достаточно вспомнить первобытные экспедиции за именами врагов (когда собственных имен уже не хватает); не все ведь знают, что связь между означающим и означаемым (а также между знаком языка и его референтом) произвольна, символична.

Есть и более актуальные проблемы. Очевидно, вполне возможно рассматривать эмоции как "внутренние знаки" (точнее, как знаки с внутренними скрытыми от нас референтами и иконическими означающими – это те же самые труднопередаваемые состояния, которые мы испытываем, а писатели способны выразить в символических означающих – в тексте. Означаемыми здесь являются представления, образы наших эмоций – то, что мы "думаем" о них). П. Жане (1984) писал: в действительности причина того, что все видится нам в черном цвете, может заключаться в том, что мы не чувствуем в себе достаточно сил, чтобы воздействовать на обстоятельства и заста-

вить их обернуться благоприятным для нас образом. Из-за подобного истощения и психической бедности может произойти трагическое, поэтому их надо "хотя бы до некоторой степени понимать". Признание относительной независимости означаемого от референта вытекает из признания относительной автономности человеческой психики, того, что образы сознания и реалии окружающей действительности - явления разного порядка. Вундтом было разработано понятие "психической причинности", не сводимой к отражению внешней, "физической" причинности.

Семиотически мы изучаем эту автономную психику путем анализа ее дискретных означающих (в частности, речевых образований) и, таким образом, интиутивно противопоставляя их - по значимости, делаем какие-то выводы относительно означаемых, смыслов, т.е. содержания какой-то части психики - сознания, того, что может быть вербализовано. Так как языковые механизмы членения представляются наиболее универсальными, то и основные лингвистические постулаты кладутся в основу анализа других знаковых систем и процессов означивания. Не остается ли такое изучение все же в значительной мере формальным, дегуманизированным (ведь объект изучения семиотики - человек)? Нам кажется, по меньшей мере в идеале - нет. Не зря, глубокий философский анализ часто доходил до основных содержательных парадигм сознательного и бессознательного. И не случайно: изучая единичные человеческие деяния, мы не знаем, что лежит в их основе. Юнг (1991) подчеркивал: "С древнейших времен наиболее рассудительные люди понимали, что любого рода внешние исторические условия - лишь повод для действительно грозных опасностей, а именно социально-политических безумий, которые не представляют каузально необходимых следствий внешних условий, но в главном были порождены бессознательным" ("Об архетипах коллективного бессознательного"). Все дело здесь в том, чтобы вовремя увидеть историческую ограниченность дососсюровской лингвистики, которая не способна эксплицировать скрытые, бессознательные ценности, управляющие нашим поведением. Семиотика же представляет собой такой анализ "форм", различий, который выявляет наиболее глубинные архетипические в своей основе содержания.

Конситуативное проявление архетипа – это психологически образ, а в речи – "словесная картина с малым последствием" (Юнг). О личностном смысле, ценностной сущности можно говорить уже тогда, когда этот образ становится эмоционально и семантически закрепленным, устойчивым. Подобное различие должно как-то проявляться и в художественном тексте, но только в тех случаях, когда оно эстетически значимо.

Действительно, личностный смысл может быть итерированным (распределенным, повторяющимся) во всем корпусе текстов определенного автора, не имея специальных показателей (маркеров) своей устойчивости. В этом отношении, если считать все написанное автором неким глобальным текстом, он будет характеризоваться некоторой изотопией (однородностью), обусловленной смысловой парадигмой. Так, П. Гиро (1980) установил, что у Бодлера "прóпасть" всегда характеризуется как черное, сумрачное, ледяная бездна, ассоциирующаяся с понятием ужаса, тошноты и головокружения. Или тема индивидуальности у Пушкина: "(Из Пиндемонти)", "Поэт" и др.

Личностный смысл (тема) проявляется в авторских текстах повторяемостью и/или особыми формальными показателями, отличающими его от описания случайного, мимолетного образа (они выделены нами в нижеприведенных иллюстрациях). Эти маркеры могут быть лексическими и грамматическими; первое, что бросается в глаза, это темпоральные наречия и видо-временные формы глаголов со значением повторяющегося действия или состояния (имперфектным, настоящим неактуальным): "Необъяснимым холодом **веяло** на него **всегда** от этой великолепной панорамы... Дивился он **каждый раз** своему угрюмому и загадочному впечатлению и откладывал разгадку его..." ("Преступление и наказание"); "**Когда** за городом, задумчив, я **брожу...**" (Пушкин); "Ветер августа, хмурый товарищ,/ Вот ты **снова приходишь** за мной" (А. Сопровский).

Различие между "образом" и "темой" – соответственно между окказиональным и узуальным для данной личности речевыми проявлениями архетипов – семиотически значимо. В первом случае мы имеем непосредственно формирующийся в тексте дискурсивный смысл; если ему и соответствует какое-либо довербальное содержание, то это нечто вроде интенции или фрейма. Второй же случай

представляет нам элемент индивидуального мира, семантического универсума личности, ее аксиологии. Если принять, что литературное произведение представляет собой ритмически организованное иконизированное разворачивание индивидуальных (коллективных) ценностных сущностей, то окажется, что два вида означаемых – образ и личностный смысл – связаны с различными ярусами художественного текста. Образы в значительной мере формируют иконический, наглядно-изобразительный уровень (то, что Барт (1989) называет "описанием"), личностные смыслы образуют его концептуальную, "идейную" основу. Дальнейший анализ, надеемся, позволит обнаружить более детальную дифференциацию соответствующих означающих.

ЛИТЕРАТУРА

Анохин, П.К. 1984, Эмоции. В кн.: *Психология эмоций: Тексты.* М.: Изд-во МГУ, 172-177.

Барт, Р. 1989, *Избранные работы: Семиотика. Поэтика.* М.: Прогресс.

Белов, С.В. 1985, *Роман Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание": Комментарий.* М.: Просвещение, 2-е изд.

Блум, Ф. – Лейзерсон, А. – Хофстедтер, Л. 1988, *Мозг, разум и поведение.* М.: Мир.

Гиро, П. 1980, Разделы и направления стилистики и их проблематика. В кн.: *Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 9. Лингвостилистика.* М.: Прогресс, 35-68.

Голдстейн, М. – Голдстейн, И.Ф. 1984, *Как мы познаем. Исследование процесса научного познания.* М.: Знание.

Греймас, А.Ж. – Курте, Ж. 1983, Семиотика. Объяснительный словарь теории языка. В кн.: *Семиотика.* М.: Радуга, 483-550.

Гюисманс, Ж.-Ш. 1990, *Наоборот.* М.: Всесоюзный молодежный книжный центр.

Жане, П. 1984, Страх действия как существенный элемент меланхолии. В кн.: *Психология эмоций: Тексты.* М.: Изд-во МГУ, 192-202.

Сопровский, А. 1992, Пристанище ветхой свободы: Стихи, эссеистика. *Новый мир* № 3, 182-207.

Соссюр, Ф. де 1977, Курс общей лингвистики. В кн.: Соссюр, Ф. де, *Труды по языкознанию.* М.: Прогресс, 31-269.

Юнг, К.Г. 1991, *Архетип и символ.* М.: Изд-во "Ренессанс" СП "ИВО-СиД".

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 133-142.

НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ РЕЧИ

Каталин Куглер

(Kugler Katalin, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

В данной статье подводятся итоги многолетней работы над составлением русско-венгерского словаря газетной речи. В вышедшем первом варианте словаря (Kugler 1994), которым мы хотели оказать помощь изучающим и преподающим русский язык, собрано больше 3000 лексических единиц, которых нет в двухтомном русско-венгерском словаре (Hadrovics-Gáldi (szerk.) 1986). Работа над словарем продолжается, и после выхода упомянутого словаря уже собраны сотни новых слов, найденных в дошедших до нас русских газетах, еженедельниках, журналах с самым различным профилем.

На основе проведенной работы позволим себе сделать несколько общих замечаний относительно теперешнего состояния языка газет. Как правило, о состоянии современного русского языка судят в наши дни главным образом на основе публицистической речи, реализуемой средствами массовой информации. Если сравнить стиль доперестроечных и постперестроечных газетных публикаций, то различия действительно колоссальные. Некоторые лингвисты по этому поводу бьют набат, говорят о порче языка (Костомаров 1994), другие относятся к этим новым явлениям более толерантно (Бельчиков 1993, Скляревская 1992).

В чилсе аномалий современного русского языка упоминается прежде всего его англицизация, точнее американизация. Повальное распространение англицизмов/американизмов в печати и в повседневном общении бесспорный факт. Однако большинство иноязычных заимствований, ставших общеупотребительными в последние годы, например, в финансово-банковской сфере как *дилер, брокер, менеджер, биржа* и пр. употреблялись и до этого, правда, узким кругом специалистов или с отрицательным оттенком как реалии порочного капитализма. Многие англицизмы были освоены молоде-

жью уже в 60–70 годы, напр., *сейшн, флэт, грины, лейбл* и пр., в большей мере в 80-е годы, но тогда они не имели "доступ" в газетную речь и подхватывались лишь немногими писателями (Борисова-Лукашенец 1983: 104–120). Неологизмы в сфере компьютерной техники как *дискэт, дисплей, принтер;* в сфере рок-музыки, развлекательной электроники и моды как *хит-парад, хард-рок, шоу, диск, плейер, клип; бермуды, стреч, блейзер, кардиган* и пр. мы должны отнести к интернационализмам и примириться с их появлением и на газетных полосах.

Коммуникативно немотивированное, чрезмерное, стилистически не оправданное употребление англицизмов в газетном тексте мы тоже считаем проявлением дурного тона, данью моде. Вполне заменимы синонимичными словами и конструкциями *шопинг (покупки), саммит (встреча в верхах, на высшем уровне), рейтинг (степень популярности какого-л. лица или явления).* С другой стороны, мы должны признать, что некоторые иноязычные лексические инновации уже вполне освоены литературным языком, включены в морфологическую систему русского языка, о чем свидетельствует множество образованных от них производных слов. Например, *спонсор – спонсорство, спонсировать, спонсирование; лобби – лоббизм, лоббировать, лоббист, лоббистский; рэкетир – рэкетирство, рэкетирский, рэкетировать* (об этом см. подробнее Костомаров 1994: 81–109). Многие иноязычные заимствования подвергаются семантическим трансформациям, о которых пойдет речь позже.

В книге О.Б. Сиротининой об особенностях современной разговорной речи (Сиротинина 1974: 74) мы нашли следующую характеристику разговорной лексики: а) широкие возможности использования любого слова русского языка; б) практическое отсутствие каких-либо ограничений в использовании как книжной, терминологической, так и собственно разговорной и даже просторечной (добавим даже жаргонной) лексики; в) образование окказионализмов и расширение значения слов. С учетом генетической разницы, наличия множества различных экстралингвистических факторов, данная выше характеристика может быть применена и к современному статусу публицистической речи.

Что же привело к такому состоянию языка прессы? Процессы, подготовившие, можно сказать, фундаментальные изменения в литературном языке, начались в эпоху перестройки. Тогда уже были сняты запреты на определенные исторические, политические темы, началась демократизация общества и прессы. Этот процесс ускорило принятие резолюции о "гласности" в 1988-м году. Люди, захлебываясь, читали свежие номера "Огонька" и газеты "Аргументы и факты". (В начале 1989 года "Огонек" имел почти 3 миллиона читателей, а в октябре того же года "Аргументы и факты" 22 миллиона читателей.) К этому времени советская официальная пресса перестала быть идеологическим монолитом. Рамки тоталитаризма разшатывали и "неформальные" издания, митинги. Завершением демократизации был закон "О печати и других средствах массовой информации", который вступил в силу 1-го августа 1990 года. Этим кончился и период самиздата и началась эра независимой прессы. (См. об этом процессе: Лысакова 1993.)

Главным образом после "путча" 1991 года быстрыми темпами шла ломка старых устоев, *демонтаж* социализма, *департизация, дебюрократизация, деидеологизация* общества. Вслед за этим исчезли и словесные аттрибуты *однопартийной* системы, надоевшие политические стандарты, партийный канцелярит, бессмысленные метафоры типа *заря коммунизма*. Обновление экономики, политической, социальной жизни отражал язык прессы множеством неологизмов, по необходимости заимствованных из других языков, неслучайно как раз из английского языка.

Снятием цензуры изчезли всякие табу, следовательно тематический спектр газетных публикаций стал безграничным. Обращение к запрещенным доселе темам, как секс, наркомания, преступность, привели к обогащению лексики газет, главным образом, за счет раньше тоже табуированных в партийной прессе жаргонизмов, просторечных, порой блатных слов. Сегодня в газетах чужая речь стилистически уже не обрабатывается, поэтому не удивительно встретить такую фразу в интервью со следователем: "Но стоит хоть чуть *спеться* с бандитами, принять их подарок, *наобещать* чего-то, *набрехать* – и очень просто *замордуют* до смерти" (Мегаполис-Экспресс 1995, № 19, 6).

Изменение лексики и в связи с ним стилистической тональности русской прессы объясняется и новым отношением журналистов к своим читателям. Исчезла не только идеологическая односторонность, но и назидательный тон, вместо них появились непосредственность, доверительность, порой панибратское отношение к читателю. Идет явная конкурентная борьба между газетами, важным аспектом стала продаваемость. Следовательно, надо писать броско, порой вызывающе, чтобы газета читалась и продавалась. Переход к тематическому многообразию, к новой тональности, конечно, не лишен "словесных перегибов", иногда вульгарности, непривычной раньше фривольности, но мы считаем их признаками естественного развития лексики, проявлением стилистического своеобразия современной публицистической речи.

Из наблюдаемых фактов следует, что в языке прессы меняется соотношение книжных-нейтральных-разговорных элементов в пользу сниженных элементов, и обобщенно можно сказать, что уменьшается оппозиция устной разговорной речи и письменных, книжных разновидностей литературного языка.

Пополнение словарного состава любого литературного языка может идти путем внутреннего (из просторечия, жаргона, диалектов) и внешнего (из разных языков) заимствования, путем словообразования и семантических изменений. В дальнейшем мы остановимся на некоторых явлениях семантического обогащения газетной лексики.

Многие термины, закрепленные за определенной тематической сферой, попадая в чужеродную среду, приобретают переносное значение. Так было и со следующими словами из спортивной лексики. Многим известны термины, связанные с боксом как *апперкот* ('удар снизу в подбородок или туловище'), *нокаут, нокдаун, раунд;* также *прессинг, тайм-аут*. В последние годы они стали употребляться более широко, напр., при описании экономического положения страны: *вывести экономику из нокдауна*[1]*;* в отношении диплома-

---

[1] *Нокдаун* обозначает состояние боксера, возникшее в результате полученного удара, при коротом он не способен продолжать бой в течение нескольких, но не более 10 секунд (Петрова 1984). *Вывести экономику из нокдауна* обозначает: поставить экономику на ноги, привести в себя из шокового состояния.

тических событий: *делегация взяла очередной* ***тайм-аут***[2] (Труд 22. 09. 1993, 2); *усилился* ***прессинг*** *местных организаций демократов* (Независимая газета 18. 02. 1992, 13). Расширение семантики слова *нокаут* уже зафиксировано новым однотомным толковым словарем (Ожегов-Шведова 1994) и также включен в словарь термин *тайм-аут,* правда только со спортивным значением. Следующий пример свидетельствует об обратном процессе. Слово *легионер* пришло из военной лексики в спортивную, где обозначает: иностранный игрок в футбольной команде.

Перенос значения наблюдается и при слове *конверсия,* которое к своему наиболее распространенному банковско-финансовому значению[3] приобрело значение: "Процесс полного или частичного перевода предприятий оборонной промышленности на производство гражданской продукции и товаров народного потребления" (Максимов 1992: 98), однако основное ядро семантики слова, т.е. значение превращения, изменения сохранилось. Перед нами случай семантической инновации лексики, когда для обозначенных новых явлений общественно-экономической жизни заимствуется слово из другой тематической среды, к семе которого прирастает новое значение. Его условно можно назвать квазинеологизмом.

Из научной речи перешли в публицистическую речь такие слова как *генерировать, индуцировать, стабилизатор, инициировать* и пр. В новой тематической сфере модифицируется их значение, расширяются их сочетаемостные возможности, возникают новые семантические приращения. В следующем примере к значению слова *генерировать* 'производить, возбуждать' (напр. электрические, упругие колебания) добавляется значение 'создать, выдать', т.е. по существу активизируется исходное значение заимствованного латинского слова 'создать, порождать': "Номенклатура *генерировала* взамен Шушкевича свою органическую частицу" (Литературная газета 1994, № 5, 3). В данном предложении аттрибутивная конструкция хранит еще

---

[2] Данное выражение обозначает: делегация снова попросила перерыв в переговорах, следовательно, решение проблем откладывается.

[3] Данное слово употребляется как термин и в генетике, физике и в лингвистике.

отпечаток научного стиля, глагол *генерировать* как будто не смог целиком оторваться от привычного лексического окружения. Термин *стабилизатор* употребляется в следующей фразе самостоятельно, без налета научного стиля, приобретая значение 'сила, обеспечивающая политическую стабильность, равновесие, постоянство': "Россия должна играть пассивную, однако важную роль *стабилизатора*" (Спутник 1993, № 11, 22). Новую коннотацию имеет и существительное *инициирование:* "... *инициирование* аппаратчиками левой и правой оппозиции" (Независимая газета 27. 03. 1993). То есть под воздействием аппаратчиков началась такая цепная реакция, которая привела к возникновению левой и правой оппозиции. Узус приведенных выше слов явно расширяется, меняются нормы сочетаемости слов, что в конечном счете обогащает возможности языковой реализации новых коммуникативных задач.

Вполне освоены уже публицистической речью такие прилагательные как *взрывоопасный, центростремительный, центробежный.* Бывает же в политической жизни *взрывоопасная* ситуация, также *взрывоопасные* проблемы; или *центробежные* силы, которые хотят оторваться от опеки центра, то есть от влияния Москвы, или наоборот *центростремительные* силы, которые борются за унитарное государство, то есть за сохранение целостности бывшей империи. Внутрисловная семантическая модификация произошла здесь по метафорическому сдвигу ассоциативной связи.

Метафорический способ расширения семантики слова часто встречается при употреблении жаргонизмов. В публицистической речи для повышения экспрессии часто употребляется субстантивированное прилагательное *деревянные,* в значении 'советские деньги, рубли'. С тем же значением встречается и эвфемистичное словосочетание *деревянная валюта.* В данном жаргонизме активизируется переносное значение слова ('лишенная естественной подвижности, бесчувственный'), и дополняется смысловым оттенком отсутствия жизнеспособности, обесцененности. Такое образное название девалвированных русских денег имеет ироническую окраску, особую экспрессию.

В дальнейшем мы приводим несколько примеров метонимического типа расширения семантики слова. Трупы советских воинов привозили на родину из Афганистана в цинковых гробах. Существительное *цинк* вобрало в себя значение словосочетания *цинковый*

гроб по метонимической ассоциативной связи и целиком заменил его, осуществляя принцип языковой экономии, обладая при этом общепонятностью и образностью.

Следующие словосочетания являются также примерами метонимизации лексики: *черные береты* (бойцы ОМОН, омоновцы), *голубые каски* (солдаты ООН), *зеленые береты* (особые части и подразделения в вооруженных силах США). Жаргонное *зеленые*, в значении 'доллары', является тоже метонимичным, как и омонимичное слово, обозначающее сторонников движения зеленых, т.е. борцов за охрану окружающей среды.

Дальше мы хотим остановиться на лексеме *экология*, которая из научного термина вследствие широкой употребительности на страницах популярных газет и журналов превратилась в общеупотребительное слово. О новом статусе слова в лексике русского языка свидетельствует и его включение в новый однотомный толковый словарь (Ожегов–Шведова 1994). Кстати, стилистическая нейтрализация этого слова связана с явлением "гласности", ведь о тревожных вопросах экологии стали говорить открыто и доступно для непосвященного читателя главным образом начиная с 1989 года. Эта тема по своей актуальности не сходит со страниц газет, об экологических проблемах земли дискутируют ныне уже на самых различных уровнях. Изменение валентности слова, образование новых производных слов от него – вполне объяснимо, однако встречается и не вполне приемлемое употребление слова *экология*.

В упомянутом словаре дается два значения слова: 1) наука об отношениях растительных и животных организмов друг к другу и к окружающей их среде; 2) состояние организмов, населяющих общую территорию, их отношения друг к другу и к окружающей среде. Второе значение развивается дальше в словосочетании *социальная экология*, в которое включается новый семантический элемент 'общество', расширяя взаимоотношения 'человек – окружающая среда'. Эта семантическая линия продолжается в словосочетании *экология культуры*, где 'окружающая среда' уже переосмысляется, лишается своего первоначального значения. Под *экологией языка* подразумевается уже не только социальная, культурная сфера, в которой функционирует данный язык, но и потребность очистить эту среду.

(В связи с языком часто употребляется из той же терминологии метафорическое *загрязнение языка)*. Л.И. Скворцов (1988) идет дальше, употребляя выражение *экология слова*. В данном случае на первый план выходит момент бережного отношения к языку, необходимость изменить отношение к новым языковым явлениям, т.е. потребность разработать стратегию "охраны" языка.

Производное от изучаемого слова прилагательное *экологический* сохраняет значение 'относящийся к экологии' в словосочетаниях *экологические разыскания, экологические проблемы. Экологическая опасность* обозначает уже 'критическое положение окружающей среды в данном регионе', следовательно надо заботиться об *экологической безопасности* какой-л. страны и т.п. Метафорическое переосмысление понятия встречается в следующих словосочетаниях: *экологическая пропасть, экологический тупик*. Вследствие широкого употребления валентность слова явно меняется, и семантика слова обогащается новыми оттенками. Иногда кажется, что сочетаемостные возможности данного прилагательного безграничны, правда, семантические сдвиги без контекста не всегда понятны. О. Хабаров (1994) в своей статье (откуда взяты последующие примеры) пишет об *экологической державе,* где в государственном масштабе заботятся о защите окружающей среды, где осуществляется *экоинтернациональное мышление,* следовательно можно мечтать и об "объединенной *экологической Евразии"* во главе с Россией. Довольно парадоксальным кажется словосочетание *экологическая дикратура,* ведь второй элемент словосочетания имеет негативную коннотацию, и надо хорошо подумать, при каких условиях и в какой форме допустима диктатура даже во имя защиты окружающей среды. Семантический диссонанс ощущается и в выражении *государственно-экологический патриотизм,* ведь в один ряд попали административно-прагматический и не лишенный эмоциональных моментов подходы пусть во имя экологических целей. В окказиональном употреблении прилагательного в словосочетании *экологические шоу* (имеются в виду встречи глав государств, как, например, *зеленый саммит* в Рио де Жанейро) перед нами случай семантической компрессии: ироническое употребление существительного подчеркивает бессмысленность, бесполезность этих встреч по проблемам экологии Земли, нашей *экосферы.*

Другое производное прилагательное *экологичный* приобрело значение 'безвредный': *экологичный агрегат, экологичная установка.* Эти устройства созданы уже с учетом правил, обеспечивающих *экологичность,* то есть безопасность, безвредность для окружающей среды. Эти случаи говорят о стремлении носителей языка к экономии, и пока критерии общепонятности соблюдаются, эти семантические инновации приемлемы. Однако такое словосочетание как *экология рабочего места* считаем неудачным, ведь в одной семантической цепи оказались слово с глобальным значением и слово, обозначающее сугубо конкретное, прозаичное.

К отрицательным явлениям лексико-семантических изменений мы должны отнести и следующее: подхват некоторых книжных слов, которые вытесняют синонимичные варианты, напр., слово *структура* употребляется вместо *группировки, системы, аппарата* и т.п. (см. *предпринимательские, криминальные, коммерческие, силовые, президентские* и т.п. *структуры); пространство (рублевое, экономическое, культурное, единое информационное* и даже *конституционное* (!) *пространство)* употребляется вместо слов *сфера, территория, зона* и т.п. Модное *имидж* вытесняет слова *представление, облик, репутация, мнение.* Растущая валентность некоторых модных слов приводит, к сожалению, к оскудению синонимичной вариативности словоупотребления.

В публицистическую речь давно перешло из жаргонной лексики слово *крутой* со значением 'высшая степень чего-л.', 'неординарный, переходящий норму', 'напряженный, неприятный' (Рожанский 1992: 29). Чересчур частое употребление этого слова вызывает ослабление экспрессии, расплывчатость семантики слова приводит к неточному выражению мысли говорящего, и возможно, к неадекватному восприятию сообщаемого. То же самое можно сказать об употреблении слов *обвал, обвальный* в переносном значении (см. примеры Костомарова (1994: 135–136)).

Да, действительно, в языке русских газет заметно немало отрицательных явлений, порой и порча языка. Однако мы считаем, что не стоит драматизировать сложившуюся ситуацию. Нам думается, что в сегодняшней бурной круговерти русский язык окрепнет, отсеяв ненужные, дисгармоничные, не вписывающиеся в систему языка элементы. Хочется верить в балансирующую роль классиче-

ской и современной литературы. Надеемся, что она останется ориентиром для журналистов и наших дней. На наш взгляд, идеологические, тематические, языковые запреты в советской печати, постоянное вдалбливание бессмысленных штампов, ложной фразеологии приносили больше вреда в течение десятилетий как морально, так и в языковом плане, чем небрежность, порой, можно сказать, языковая "разнузданность" некоторых журналистов. Языковой взрыв в печати заметен в большей мере из-за контраста. В устной разговорной речи, где тематическая и лексическая свобода и раньше не ограничивалась (имеется в виду общение в неофициальной сфере), такого контраста в словоупотреблении сегодня мы не находим. Надеемся также, что в русской печати эйфория от "вседозволенности" пройдет, если станет ясным, что свобода в России не преходящее явление, что цензура отменена навсегда, и тогда основными критериями газетных публикаций станут: талант и нравственность. А талантливый журналист должен обладать хорошим вкусом и чувством меры и в плане языковых инноваций.

ЛИТЕРАТУРА

Бельчиков, Ю.Б. 1993, "Что было выражено словом, то было в жизни...". *Русская речь* № 3, 30–35.

Борисова-Лукашенец, Е.Г. 1983, О лексике современного молодежного жаргона (англоязычные заимствования в студенческом сленге 60–70-х годов). В кн.: *Литературная норма в лексике и фразеологии.* М.: Наука, 104–120.

Костомаров, В.Г. 1994, *Языковой вкус эпохи.* М.: Педагогика-Пресс.

Лысакова, И.П. 1993, *Пресса перестройки.* СПб.: Астра-Люкс.

Максимов, В.И. (ред.) 1992, *Словарь перестройки.* СПб.: Златоуст.

Ожегов, С.И. – Шведова, Н.Ю. 1994, *Толковый словарь русского языка.* М.: Азъ, 2-е изд., испр. и доп.

Петрова, Ф.Н. (гл. ред.) 1984, *Словарь иностранных слов.* М.: Русский язык.

Рожанский, Ф.И. 1992, *Сленг хиппи.* СПб.-Париж: Издательство Европейского дома.

Сиротинина, О.Б. 1974, *Современная разговорная речь и ее особенности.* М.: Просвещение.

Скворцов, Л.И. 1988, Культура языка и экология слова. *Русская речь* № 4, 3–9.

Скляревская, Г.Н. 1992, О состоянии русского языка. *Русская речь* № 5, 39–42.

Хабаров, О. 1994, Нужна экологическая диктатура. *Спутник* 1994, № 8, 63–67.

Hadrovics L. – Gáldi L. (szerk.) 1986, *Orosz-magyar szótár I–II.* Budapest: Akadémiai Kiadó, VII. változatlan kiadás.

Kugler K. 1994, *Orosz-magyar sajtónyelvi szótár.* Szeged.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 143-158.

ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФИНИТИВА ПРИ ПЕРЕВОДЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Илона Эрдеи

(Erdei Ilona, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

В нашей статье (Эрдеи 1995) рассматривались расхождения в употреблении инфинитива в венгерском языке (ВЯ) и в русском языке (РЯ) на примерах из венгерского "Справочника по культуре речи" (Nyelvművelő kézikönyv) с точки зрения перевода, и был сделан вывод, что в РЯ инфинитив употребляется гораздо шире, чем в ВЯ. Доля инфинитива среди других форм русского глагола, по свидетельству частотного словаря Э.А. Штейнфельдт (1963), составляет 15,2%, а употребительность наклонений распределяется следующим образом: изъявительное наклонение - 78,7%, сослагательное наклонение - 1,5% и повелительное наклонение - 4,6%. Сопоставление грамматических категорий глагола показывает, что после изъявительного наклонения наиболее употребителен инфинитив. На самом деле, мы вправе предположить, что доля инфинитива по сравнению с другими формами выше указанного процента, так как частотный словарь Штейнфельдт был составлен с учебной целью для преподавателей средних школ по материалам доступным для детей (художественная литература, радиопередачи, публицистические статьи).

К сожалению, о роли инфинитива в функциональных стилях мы не располагаем точными данными. Известно только, что процент инфинитива самый высокий в официально-деловой речи (5 : 1), а в научной речи это соотношение равно 1 : 5 (Кожин и др. 1982). О газетно-публицистическом стиле речи мы не имеем даже таких данных. Однако, достаточно открыть любую русскую газету, чтобы убедиться в активности инфинитива. Особенно часто используются инфинитивные предложения в заголовках статей.

В разговорной речи также наблюдается активизация инфинитива: в бурной "перестройке" языковой нормы появляются даже та-

кие "сомнительные" грамматические явления, как номинативное употребление инфинитива с предлогом *(За выпить дядя все сделает)*.

Относительно венгерского языка мы практически не располагаем никакими данными о частотности грамматических форм глагола. Единственный имеющийся частотный словарь (Füredi–Kelemen 1989) содержит только лексические данные и несколько очень скудных данных о распределении частей речи (без указания на разные глагольные формы).

В данной статье мы ставим своей целью изучить соотношение инфинитивных конструкций в эквивалентных русском и венгерском литературных текстах, а также проанализировать переводческие трансформации инфинитива и инфинитивных конструкций в переводах литературных произведений с русского на венгерский и с венгерского на русский язык. Мы брали за основы отрывки русских текстов, в которых инфинитив встречался по 100 раз. Для анализа мы использовали отрывки из романа М. Булгакова "Белая гвардия" и его художественный перевод на венгерский язык Евы Григаши, а также венгерский роман Гезы Оттлика "Училище на границе" в сопоставлении с его художественным переводом на русский язык (перевод В.А. и А.В. Смирновых).

Обратимся сначала к роману "Белая гвардия". Прежде чем приступить к анализу перевода инфинитивных конструкций, интересно взглянуть на обзорную таблицу, которая показывает, сколько раз встречается инфинитив в разных типах предложений в данных текстах.

Инфинитив	Белая гвардия	Венгерский перевод	%
1. модальный гл. + субъектный инф.	40	22	55
2. модальный гл. + объектный инф.	10	1	10
3. с фазисным глаголом	14	5	36
4. *чтобы* + инф.	2	1	50
5. предикативное причастие + инф.	1	–	0
6. кат. сост. + инф.	5	4	80
7. сложное будущее	6	2	33
8. инф. в вопросах	4	1	25
9. инфинитивное предл.	7	–	0
10. гл. движение + инф.	6	4	66
11. сущ. с несогл. опр., инф.	1	–	0
12. с отрицательным местоимением с частицей *не-*	4	1	25
ВСЕГО	100	42	42

Из этих данных сразу видно, что в русском тексте количество инфинитивов более чем в два раза превышает число инфинитивов в венгерском тексте. Эти данные свидетельствуют, что практически каждая русская конструкция имеет в ВЯ формально соответствующие элементы, однако они отличаются по **частотности** употребления.

Из таблицы видно также, что инфинитив в РЯ чаще всего встречается с модальными глаголами. 50% употреблений инфинитива приходится на эту группу. Это объясняется тем, что общим, инвариантным значением инфинитивных предложений можно считать модальность, а внутри модальности значение потенциальности действия. Это становится еще более наглядным, если посмотреть, с ка-

кими лексико-грамматическими средствами сочетается инфинитив внутри этой группы.

1. Модальные глаголы с субъектным инфинитивом

1. А им придется мучиться	1. Nincs más választásuk, mint gyötrődni
2. и умереть	2. és meghalni
3. Но унывать не следует	3. De azért nem szabad csüggedni
4. Государю удалось спастись	4. A cárnak sikerült megmenekülni
5. Хоть сказать ему хочется	5. Bár nagyon is szeretne szólni
6. Будто хочет выдавить его	6. Mintha ki akarná nyomni,
7. и вылезть	7. hogy kimásszon
8. Хочется мне туда поехать	8. Kedvem lenne odamenni,
9. узнать в чем дело	9. megnézni, mi van
10. Коварный враг... может разбить Город	10. A könyörtelen ellenség, aki talán romba dönti a várost,
11. и осколки покоя растоптать каблуками.	11. és lábbal tiporja szét a békességnek még a morzsáit is.
12. Прекрасно можно было бы закусить	12. Isteni lenne eszegetni
13. и выпить чайку	13. és kortyolni a teát
14. Желал бы я знать	14. Szeretném tudni,
15. ведь не может же быть	15. hisz nem létezik, hogy
16. Разложения могут быть	16. előfordulnak hébe-hóba fegyelemsértések
17. Этого не может быть	17. ez lehetetlen
18. Н. помог фигуре распутать концы	18. Ny. segített a jövevénynek kioldozni a zsinórt
19. М. пытался подуть на пальцы	19. Megpróbált az ujjaira lehelni
20. Не могли дать вам валенки и полушубки?	20. Hát nem tudtak nemezcsizmát és ködmönt adni nektek?
21. стараясь изобразить	21. iparkodva utánozni

22. Не может же П. под трактиром быть	22. Lehetetlen, hogy P. már a kocsmánál legyen!
23. Костров разжечь не можем	23. Tüzet persze nem gyújthattunk
24. стараюсь заснуть	24. azon voltam, hogy elaludjak
25. вставать не хочется	25. nem volt már erőm felkelni
26. Можешь себе представить	26. képzelheted,
27. утром вся эта орава в Город могла сделать визит	27. az egész horda becsődült volna városnézőbe
28. не может этого быть	28. lehetetlen, hogy
29. не хотели брать	29. az istennek nem akarták átvenni tőlünk
30. К. хотел пристрелить какого-то штабного	30. K. agyon akart lőni egy törzstisztet
31. решили отделаться от меня	31. nyilván meg akart szabadulni tőlem
32. Первый слой можно было читать ясно	32. az első tükörben most mindenesetre világosan lehetett olvasni
33. Неимоверных усилий стоило Н-е разбудить М-го	33. Ny-nak hallatlan erőfeszítésébe telt felébreszteni M-t
34. Не придется больше услышать Т-у	34. T. már soha többé nem hallja
35. очень может быть	35. és igen-igen könnyen megeshet
36. никого обивать не смели	36. senkit sem mertek bántalmazni
37. С.И. старался угадать	37. Sz.I. hasztalan próbálta kisütni
38. Тебя... я взять не могу	38. nem vihetlek magammal
39. Я думаю удастся пробраться	39. úgy gondolom, simán átjuthatok
40. Хотела... подпеть братьям	40. velük együtt énekel

Сводная таблица по распределению модальных глаголов (ПТ = переводческая трансформация)

желать, хотеть	мочь	придется	не следует	удаться, решить, стараться, пытаться, помочь, сметь, стоило усилий
РЯ: 10 ВЯ: 8	РЯ: 16 ВЯ: 4	РЯ: 3 ВЯ: 2	РЯ: 1 ВЯ: 1	РЯ: 10 ВЯ: 7
ПТ: ЗАМЕНА гл. в повелит. накл.	ПТ: ЗАМЕНА гл. в изъяв., сосл. накл. + лекс. средства; гл. с суффиксом *-hat, -het;* мод. словом	ПТ: ЗАМЕНА гл. в изъяв. накл.	ПТ: ∅	ПТ: ЗАМЕНА гл. в повелит. накл., гл. с суффиксом *-hat, -het*

Здесь больше всего расходятся возможности употребления инфинитива в РЯ и в ВЯ при переводе инфинитивных конструкций с глаголом *мочь*. Это объясняется, с одной стороны, наличием и активностью венгерского суффикса *-hat, -het,* с другой стороны – тем, что в ВЯ формальный эквивалент русского выражения *не может быть* – **nem lehet lenni* не употребляется. Оно заменяется модальным словом *lehetetlen (невозможно)* и, конечно, спрягаемой формой глагола в изъявительном или, в одном случае, сослагательном наклонении, где потенциальность действия может выражаться лексическим способом, словами *talán, hébe-hóba*. Ведь для ВЯ в меньшей мере характерны обобщенные и неопределенные предложения. Характерно, что в ВЯ даже инфинитив, эта отвлеченная, безличная форма может получить личные окончания. В данной группе, из 24 случаев в 2 инфинитив получает личные окончания.

2. Модальные глаголы с объектным инфинитивом

1. Я-таки приказываю посторонних вещей на печке не писать	1. Megtiltom, hogy mindenféle piszlicsáré dolgokat firkáljanak a kályhára.
2. Позволь Л. ночевать	2. Engedd meg L., hogy itt éjszakázzunk
3. Патроны прошу сберечь	3. A tölténnyel azonban kérem, takarékoskodjanak
4. дали знать	4. tudatták a dolgot
5. извольте видеть	5. és tessék
6. извольте видеть	6. tessék, parancsoljon
7. не дали опомниться	7. J., akit T. távozása óta nem hagytak feleszmélni
8. позвольте сообщить	8. engedjék meg, hogy egy fontos hírt közöljek
9. извольте видеть	9. méltóztatnak látni
10. немцы не позволили бы формировать армию, они боятся ее	10. a németek nem engedték volna meg a hadsereg felállítását, féltek tőle

Распределение глаголов дает следующую картину:

приказать, просить	изволить, позволить	дать
РЯ: 2 ВЯ: ∅	РЯ: 6 ВЯ: 1	РЯ: 2 ВЯ: 1
ПТ: ЗАМЕНА спрягаемой формой гл. в повелит. накл.	ПТ: ЗАМЕНА повелит. накл.; существительным; каузативным гл.; ОПУЩЕНИЕ	ПТ: ЗАМЕНА каузативным гл.

3. Фазисные глаголы с инфинитивом

1. Давно уже начало мести с севера	1. Észak felől már régóta süvölt az orkán

2. Старший начинает подпевать	2. Az idősebb kontrázik
3. Н. стал натягивать носки	3. zoknit húzott a lábára
4. начинаю дремать	4. érzem, ragad le a szemem
5. начали в Трактир бегать	5. reggel elugrottunk a kocsmába
6. начал писать "Вас. Лис."	6. azt írta, hogy V. L.
7. начали формировать	7. nekilátnak az orosz hadsereg megalakításának
8. стал колотить его по спине	8. Ny. hátba ütögette
9. Братья начинают лгать	9. a két fiú füllenteni kezdett
10. начали таять	10. olvadni kezdett
11. начали в Трактир бегать греться	11. elugrottunk a kocsmába melegedni
12. Т. начинал волноваться	12. T-t kerülgetni kezdte az indulat
13. весь город начал называть инженера В-ой	13. az egész város V-nak kezdte titulálni
14. стал слюнить кран	14. nyálazni kezdte a zsetonokat

начать, стать
РЯ: 14 ВЯ: 6
ПТ: ОПУЩЕНИЕ фазисного гл. и ЗАМЕНА инф. спрягаемой формой гл.; ЗАМЕНА инф. девербативом

В данном отрывке текста встречаются только фазисные глаголы начала: *начать, стать*. Инфинитивы при этих фазисных глаголах могут быть переведены на ВЯ как инфинитивом, так и отглагольным существительным. С остальными фазисными глаголами *(продолжить, кончить, прекратить...)* при переводе на ВЯ инфинитив не употребляется, вместо него может стоять только отглагольное существительное.

4. *Чтобы* + инфинитив

1. Хотела, *чтобы это скрыть* подпеть братьям	1. Leplezni szeretné fivérei előtt, velük együtt énekel

2. Н. улыбнулся, чтобы не испугать Елену
2. mosolygott, hogy meg ne ijessze

чтобы + утвердительный гл.	*чтобы* + гл. с отрицанием
РЯ: 1 ВЯ: 1	РЯ: 1 ВЯ: ⊘
ПТ: ⊘	ПТ: ЗАМЕНА гл. в повелит. накл.

Если после союза *чтобы* в придаточном предложении стоит глагол с отрицанием, перевод на ВЯ инфинитивом невозможен.

5. Предикативное причастие с инфинитивом

1. Никого не велено принимать
1. Az a parancs, hogy senki se háborgassa őket

Этот тип инфинитивных предложений из-за своей емкости при переводе на ВЯ "развертывается", и при этом инфинитив чаще заменяется спрягаемой формой глагола, однако перевод инфинитивом тоже возможен. Например: *Megparancsolták, hogy senkit sem szabad fogadni.*

6. Категория состояния с инфинитивом

1. Трудно маму забывать
2. Да и говорить было бы очень трудно
3. Уныния допускать нельзя
4. Нужно ехать сию минуту
5. Мне нельзя не быть там

1. Nehéz elfelejteni a mamát
2. De fölöttébb nehéz is lett volna közös nevezőre jutniuk
3. Nem szabad engednünk, hogy közelünkbe férkőzzön a csüggedés
4. Azonnal mennem kell
5. lehetetlen, hogy ne legyek ott

трудно	нужно	нельзя
РЯ: 2 ВЯ: 2	РЯ: 1 ВЯ: 1	РЯ: 2 ВЯ: 1

Здесь нет больших расхождений в системе РЯ и ВЯ, поэтому возможен перевод формальным эквивалентом.

7. Сложное будущее

1. Отстреливаться будем,	1. Úgy határoztunk, tűzfedezettel visszavonulunk
2. и отходить на город	2. visszavonulunk a városba
3. В ложах будет пахнуть духами	3. a páholyokban parfüm lengedez
4. и дома будут играть аккомпанемент	4. és az otthonokban akkor is játsszák majd a zongorabetétet
5. нужно будет ему простыню дать	5. lepedőket kell neki adni
6. ноги будут резать	6. le fogják vágni a lábukat

Как известно, в ВЯ будущее время может быть выражено разными способами, но чаще всего оно выражается настоящим временем и наречиями времени. Сложное будущее употребляется, когда речь идет о подчеркнутом, вероятном событии. Соответственно, при переводе применяются следующие переводческие трансформации:

а) ЗАМЕНА инфинитива в составе сложного будущего спрягаемой формой глагола в настоящем времени;

б) ЗАМЕНА инфинитива существительным;

в) ОПУЩЕНИЕ вспомогательного глагола *быть*.

8. Инфинитив в вопросе

1. Но как жить? Как же жить?	1. De hogy éljenek? Hogyan?
2. Неужели же отрезать придется?	2. Csak nem kell amputálni?
3. Думаешь – стрелять или же не стрелять?	3. Morfondírozol, lőj vagy ne lőj
4. Но что делать – жертвы	4. de hát mit csináljunk

как? что?	инф. + *или* + инф.?	неужели?
РЯ: 2 ВЯ: ∅	РЯ: 1 ВЯ: ∅	РЯ: 1 ВЯ: 1
ПТ: ЗАМЕНА спрягаемым гл. в повелит. накл.; ОПУЩЕНИЕ при повторе	ПТ: ЗАМЕНА спрягаемым гл. в повелит. накл.	ПТ: ∅

При переводе на ВЯ логическое подлежащее становится грамматическим. См. *éljenek* (они), *lőj* (ты - обобщенное подлежащее), *csináljunk* (мы).

ВЯ менее терпимо относится к повторам вообще, а к повтору инфинитива в особенности. Поэтому повторное употребление русского инфинитива опускается, и даже вопросительное местоимение дается в стилистическом варианте: *hogy? hogyan?*

9. Инфинитивные предложения

1. не быть -	1. ha nem vagyok ott,
2. значит погубить карьеру	2. tönkreteszem a karrieremet
3. - и нам на немцев наплевать	3. ... és fütyülünk a németekre
4. Если это верно, вот П-у тогда поймать	4. Ha ez igaz, akkor P-t egyszerűen fogják,
5. и повесить.	5. és fellógatják
6. Вот повесить!	6. De fel ám!
7. Вот бы подстрелить чертей!	7. A piszok disznói, megérdemelnék, hogy golyót eresszen belé-jük az ember!

инф. + *значит* + инф.	местоимение + дат. п. + инф.	*Вот бы* + инф.	инф.
РЯ: 2 ВЯ: ⊘	РЯ: 1 ВЯ: ⊘	РЯ: 1 ВЯ: ⊘	РЯ: 3 ВЯ: ⊘
ПТ: ЗАМЕНА спрягаемым гл. в изъяв. накл.	ПТ: ЗАМЕНА спрягаемым гл. в изъяв. накл.	ПТ: ЗАМЕНА спрягаемым гл. в повелит. накл.	ПТ: ЗАМЕНА спрягаемым гл. в изъяв. накл.; ОПУЩЕНИЕ повтора инф.

Логическое подлежащее становится при переводе грамматическим: *vagyok, tönkreteszem* (1-е л. ед. ч.), *fütyülünk* (1-е л. мн. ч.), *fogják és fellógatják* (3-е л. мн. ч. – обобщенное подл.), *az ember* (обобщенное подлежащее).

При переводе повторение инфинитива опускается, и заменяется экспрессивной частицей. См.: *De fel ám!*

Особый интерес представляет 7-е предложение, где переводчику пришлось прибегать к целому ряду переводческих трансформаций, как грамматических, так и лексических, чтобы "развернуть" свернутое русское предложение.

10. Глаголы движения с инфинитивом

1. Поперли сани взять,	1. szánért mentünk,
2. везти помороженных	2. hogy elszállíthassuk a megfagyottakat
3. смылись... есть дохлятину	3. eltűntek döghúst zabálni
4. Е. вышла принимать розы	4. J. ment átvenni a rózsákat
5. идемте ужинать	5. menjünk vacsorázni
6. веди его мыться	6. vidd el mosakodni

гл. движ. + инф.
РЯ: 6 ВЯ: 4
ПТ: ЗАМЕНА спрягаемым гл. в изъяв. и повелит. накл.; ОПУЩЕНИЕ

В предложениях 1–2., на самом деле, мы имеем дело со свернутыми придаточными предложениями цели. См.: *Мы поперли, чтобы сани взять, чтобы везти помороженных.* В ВЯ первый инфинитив опускается, так как суффикс *-ért* сам по себе, без лишнего глагола выражает цель (кстати, в РЯ тоже можно было бы найти аналогичную структуру *мы поперли за санями)*, а второй инфинитив, выражающий свернутое придаточное предложение цели, "развертывается" и переводится на ВЯ спрягаемой формой глагола в повелительном наклонении.

11. Существительное с несогласованным определением, инфинитивом

1. Дикая фантазия откусить пласт глины	1. az a bizarr ötlete támadt volna, hogy lecsípjen egy kicsit az anyagból

В ВЯ существительные крайне редко могут стоять с несогласованным определением, как правило, только в заголовках. Но инфинитив в роли несогласованного определения никогда не выступает. Способы перевода могут быть различны: в нашем случае, это перевод придаточным предложением.

12. Инфинитив с отрицательными местоимениями с частицей *не-*

1. И главное – мертвых некуда девать	1. És ami a legfőbb, nem tudjuk hova tenni a holtakat!
2. На фронте им делать нечего	2. A fronton nekik semmi dolguk
3. не о чем было говорить с Т-ом	3. Ny-nak és A-nak nem sok beszélnivalója volt a sógorukkal

4. предаваться размышлению 4. elmélkedésre nem volt idő
было некогда

некуда	нечего	не о чем	некогда
РЯ: 1 ВЯ: 1	РЯ: 1 ВЯ: ∅	РЯ: 1 ВЯ: ∅	РЯ: 1 ВЯ: ∅
ПТ: ∅	ПТ: ЗАМЕНА существ.	ПТ: ЗАМЕНА существ.	ПТ: ОПУЩЕНИЕ

Перевод на ВЯ формальным эквивалентом возможен. То, что переводчик предпочел другие способы перевода, свидетельствует о расхождении в языковых нормах в русском и венгерском языках.

* * *

Конечно, на ста примерах невозможно получить точных статистических данных, но, может быть, даже эти скромные подсчеты выявили "трудные места" в переводе инфинитивных конструкций.

Мы провели также контрольные подсчеты, которые должны служить основой для продолжения наших исследований, и обратились к русскому художественному переводу венгерского романа Гезы Оттлика "Училище на границе". За основу мы так же взяли отрывок русского, на этот раз переводного текста, в котором инфинитив употребляется сто раз и получили следующую таблицу:

Инфинитив	Русский перевод	Училище на границе (венг. текст)	%
1. модальный гл. + субъектный инф.	41	13	32
2. модальный гл. + объектный инф.	4	1	25
3. фазисный гл. + инф.	14	5	36
4. *чтобы* + инф.	8	2	25
5. кат. сост. + инф.	11	8	73
6. сложное буд.	4	1	25
7. прил. + инф.	4	-	0
8. инф. в вопросах	3	1	33
9. инфинитивное предл.	6	4	66
10. *если* + инф.	1	1	100
11. гл. движ. + инф.	1	-	0
12. инф. в фразеологизмах	1	1	100
13. инф. в роли повелит. накл.	1	-	0
14. сущ. с несогл. определением	1	-	0
ВСЕГО	100	37	37

Итак, мы видим, что коэффициент употребления инфинитива в венгерском тексте по отношению к русскому в обоих случаях примерно одинаков и составляет в случае перевода на венгерский язык 42%, а в случае перевода на русский - 37%.

ЛИТЕРАТУРА

Кожин, А.Н. - Крылова, О.А. - Одинцов, В.В. 1982, *Функциональные типы русской речи.* М.

Штейнфельдт, Э.А. 1963, *Частотный словарь современного русского литературного языка.* Таллин.

Эрдеи, И. 1995, *Об употреблении инфинитива при переводе.* Доклад на конференции "Славянские языки и перевод", Печ.

Füredi M. - Kelemen J. 1989, *A mai magyar nyelv szépprózai gyakorisági szótára (1965-1977).* Bp.

Nyelvművelő kézikönyv I. Bp., 1983, 2., változatlan kiad.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 159-163.

БЕЛОРУССКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ В СЕГЕДЕ (ДО 1996 ГОДА)

Михай Кочиш

(Kocsis Mihály, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Настоящая статья была прочитана на конференции по белорусистике, которая проходила в апреле 1996 года в Будапеште, и тезисы этой статьи входят в сборник материалов конференции (Кочиш 1996). Занимающихся данной проблематикой специалистов, однако, интересуют точные библиографические данные, упомянутые в резюме научных трудов, а также наше мнение в связи с упомянутыми работами. Поэтому мы не считаем излишним опубликование полного текста доклада.

Сбор материалов по данной теме проходил по принципам, изложенным редакторами библиографии венгерской языковедческой славистики до 1985 г. (Nyomárkay 1990: 7). Согласно этому, определение *сегедский* относится к трудам, появившимся в этом городе. (Место жительства авторов, однако, осталось вне нашего внимания.) В обзор вошли не только публикации, но и курсы по белорусистике, проводившиеся в вузах Сегеда.

Хронологическое рассмотрение истории белорусского языкознания мы начнем с кандидатской диссертации Имре Х. Тота, написанной в 1966 г. о системе склонений имен существительных в Псковских летописях (H. Tóth 1966). Данная диссертация содержит много небезынтересных замечаний также о языке белорусском.

Основоположником сегедской белорусистики является Пал Шонкой, который в 1967 г. опубликовал статью в ученых записках Кафедры русского языка и литературы Сегедского университета *Dissertationes Slavicae* (далее – *Diss. Slav.)* о т.н. Познанской рукописи № 94 (Шонкой 1967). Эта работа П. Шонкоя, как мы читаем в его некрологе, вышедшем, увы, спустя восемь лет *(Diss. Slav.* IX–X. 1975: 256), является первой в Венгрии работой по истории белорусского языка.

Познанская рукопись № 94 состоит из шести частей. Первые четыре части, одну из которых представляет собой *Исторья о Атыли, короли угорском,* находятся на страницах 1–291. Все части были написаны в XVI в., и их языковые особенности указывают на деловой язык, употребляемый в то время в Литовском великом княжестве. По мнению П. Шонкоя, этот деловой язык – предок современного белорусского языка. На наш взгляд, подобное рассмотрение языка, названного в прошлом *руска мова* – неправильно. Этот деловой язык широко употреблялся и на землях украинских, и написанные тут документы содержат не белорусизмы, а украинизмы. Однако не подлежит сомнению, что исследованный П. Шонкоем материал богат белорусизмами, и, таким образом, интересующая нас статья, исследующая склонение имен существительных в названных выше частях Познанской рукописи, заключает в себе ряд важных сведений о старобелорусском языке XVI в. В конце статьи публикуется отрывок старого текста.

Разбору текста *Исторья о Атыли, короли угорском* (с. 173–234 Познанской рукописи) П. Шонкой посвятил еще одну, вышедшую посмертно работу (Шонкой 1975). В ней мы читаем о содержании и о предыстории памятника, а также о его важнейших фонетических особенностях. Множество приведенных примеров убеждает читателя в том, что язык исследованной П. Шонкоем рукописи представляет собой воистину язык старобелорусский. Необходимо, однако, заметить, что автор уделяет внимание выделению лишь тех фонетических черт, которые отличают язык памятника от великорусского. Он не стремится подчеркнуть, что собранные им, с этой точки зрения, данные в своей совокупности не могут быть характерными для украинского языка. Такой вывод был бы важен по той причине, что некоторые приведенные П. Шонкоем белорусизмы (напр. твердый *r*, или же звук *е* из прасл. носового заднего ряда) наблюдаются и в северном наречии украинского языка, не говоря уже о прямо общих для белорусского и украинского языков особенностях (такими являются, напр., чередование звуков *ц* и *w*, сохранение результатов второй славянской палатализации в склонениях имен существительных и др.). Но независимо от этого, мы в полной мере принимаем главный вывод П. Шонкоя о старобелорусском характере языка *Исто-*

рыи о Атыли, а богатый примерами материал является ценным для исследователя истории белорусского языка.

За несколько лет до появления вышеупомянутой статьи П. Шонкоя, а именно в 1972–73 учебном году, в Сегедском университете вводится новый предмет для студентов отделения "русский язык и литература" под названием *Введение в славянское языкознание.* (Здесь и ниже сведения об университетских направлениях взяты из семестровых расписаний занятий историко-филологического факультета Сегедского университета, хранящихся в Университетском собрании Центральной библиотеки.) Серию этих лекций провел И. Х. Тот, который стал и автором одноименного пособия. Это пособие впервые вышло в Будапеште, но потом не раз переиздавалось; переработанный вариант появился недавно в Сегеде (H. Tóth 1996). О характеристике белорусского языка в нем можно прочитать на с. 161–162.

В 1973 г. в Сегедском пединституте проходили Дни русистики. На них была прочитана и лекция Эстер Ойтози о Вильнюсском Новом Завете (Ойтози 1973). Эта книга, напечатанная в 1641 г. в Вильнюсе, также вызывает интерес и у белорусистов.

На этой же конференции выступил с докладом И. Х. Тот о новейших исследованиях по истории восточнославянских языков (Х. Тот 1973). В центре доклада особое внимание уделялось показу новой в то время монографии Ф.П. Филина *(Происхождение русского, украинского и белорусского языков.* М., 1972). Расширенный вариант этого доклада И. Х. Тота, дополненный результатами исследований второй половины 50-х, а также 60-х годов, вышел в *Diss. Slav.* (Х. Тот 1975).

Очередной том *Diss. Slav.* за 1978 г. содержит и другие интересные сообщения. В нем мы находим работу Иштвана Феринца: публикацию текста одной из молитв Кирилла Туровского (Феринц 1978). Эта публикация осуществлена отчасти по списку XIII века, отчасти по изданию 1880 г. минского и туровского епископа Евгения. В статье И. Феринца встречается немало интересных текстологических замечаний, относящихся к оригиналу молитвы.

Этот же том содержит и штудию о Туровских листках (Х. Тот–Хоргоши–Хорват 1978; над введением работал Габор Хорват,

графический, фонетический и морфологический разделы статьи написал И. Х. Тот, а лексический – Эден Хоргоши). В конце XIX века В. Стасов считал Туровские листки памятником белорусского языка. Однако, авторы данной статьи подчеркивают трудности определения места возникновения разбираемой ими рукописи. Вслед за статьей следуют копии оригинала.

Серия в *Diss. Slav.* под названием *Памятники древнерусского языка* в 1982 г. напечатала анализ и другой, найденной на территории Белоруссии, рукописи XI века, Слуцкой псалтыри (Х. Тот 1982). Данная статья состоит из графического, фонетического и морфологического анализа псалтыри. Автор статьи посвящает Слуцкой псалтыри и другую свою работу, в которой он занимается, в первую очередь, графическими особенностями памятника, а также публикует отрывки текста (Х. Тот 1988).

И Туровские листки, и Слуцкая псалтырь вошли в состав тех одиннадцати ранних восточнославянских памятников, на лексике которых исследовательская группа Кафедры славянской филологии Сегедского университета составила свой Словарь-индекс. Этот трехтомный труд выходил с 1989 по 1995 г. под редакцией И. Х. Тота (H. Tóth 1989–1995).

Со временем в Сегедском университете организовываются новые интересующие нас курсы. В 1980–81 учебном году Михаил Корчиц вел факультативные уроки белорусского языка. Спустя десятилетие, с 1991 г. автор этих строк на протяжении двух лет читал серию лекций под названием *Введение в восточнославянское сравнительное языкознание.*

История сегедской белорусистики пока не очень богата. Однако, она свидетельствует об органическом развитии: число научных публикаций и объявленных университетских курсов по белорусистике возросло в то время, когда сегедские слависты-языковеды начали интересоваться новыми – прежде не культивированными ими – дисциплинами славянского языкознания. На наш взгляд, именно это органическое развитие обеспечивает и будущее белорусистики в Сегеде: ее судьба уже неотделима от судьбы сегедской славистики вообще.

ЛИТЕРАТУРА

Кочиш, М. 1996, Из истории сегедской белорусистики. В кн.: *Hungaro-Alboruthenica 1996.* Budapest, 7-9.

Ойтози, Э. 1973, Вильнюсский Новый Завет и его маргиналии. В кн.: *Főiskolai Ruszisztikai Napok (Az előadások tézisei).* Szeged, 38-39.

Феринц, И. 1978, Из гимнографического наследия Кирилла Туровского. *Dissertationes Slavicae* XIII. Szeged, 165-180.

Х. Тот, И. 1973, Новейшие достижения изучения образования восточнославянских языков. В кн.: *Főiskolai Ruszisztikai Napok (Az előadások tézisei).* Szeged, 55-56.

Х. Тот, И. 1975, Новейшие достижения изучения образования восточнославянских языков. *Dissertationes Slavicae* IX-X. Szeged, 219-233.

Х. Тот, И. 1982, Слуцкая псалтырь. *Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica* XV. Szeged, 147-191.

Х. Тот, И. 1988, К изучению Слуцкой псалтыри. *Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica* XX. Szeged, 219-227.

Х. Тот, И. - Хоргоши, Э. - Хорват, Г. 1978, Туровские Листки. *Dissertationes Slavicae* XIII. Szeged, 181-258.

Шонкой, П. 1967, К истории системы склонения имен существительных (на материале Познанской рукописи № 94). *Dissertationes Slavicae* V. Szeged, 15-21.

Шонкой, П. 1975, Замечания об "Исторыи о Атыли, короли угорском". *Dissertationes Slavicae* IX-X. Szeged, 207-217.

H. Tóth I. 1966, *A Pszkovi krónikák főnévragozási rendszere.* Szeged. Kandidátusi értekezés (kézirat).

H. Tóth I. 1996, *Bevezetés a szláv nyelvtudományba.* Szeged.

H. Tóth I. (szerk.) 1989-1995, *Szótár-index az óbolgár nyelv XI-XII. századi orosz másolatú emlékeihez.* Szeged. I. 1989, II. 1992, III/1. 1993, III/2. 1995.

Nyomárkay I. (szerk.) 1990, *A magyarországi szláv nyelvtudomány bibliográfiája 1985-ig.* Budapest.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 165-180.

ЖИТИЕ ПРЕПОДОБНОГО МОИСЕЯ УГРИНА

Иштван Феринц

(Ferincz István, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Книга, в которой можно найти нижепубликуемый текст *Жития Преподобного отца нашего Моисея Угрина*, несколько лет хранилась в Музее города Мохач, а с 1993 года она принадлежит местной библиотеке села Беременд. В Мохачский музей она попала из сербской православной церкви села Беременда (Beremend, область Бараня). Беременд находится к юго-востоку от г. Шиклош. В старых документах Беременд называется и Berenye, и Berement, а на сербском языке: Бреме или Бремен. Неизвестно точно, с каких пор стали поселяться в селе сербы, но мы точно знаем, что они там были в период турецкого владычества, и что, во время великого переселения сербов в Венгрию (по-сербски: велика сеоба), некоторые семьи остались жить в Беременде. По данным переписей 1715 и 1720 гг. Беременд относился к деревням с многочисленным сербским населением. В документации о православных церквях и населении в Венгрии 1734–1735 гг. есть сжатое сообщение: "Beremend. Ecclesia ex saepibus, praeest popa schismaticus. Illocska filialis." Около 1750 г. в Беременте было 56 сербских домов, а к 1890 году в селе было уже 409 сербских жителей. Статистика Карловачской епархии отражает точный этнический состав населения Беременда в 1905 г., по которой в селе тогда жило 352 серба, 561 венгр, 725 немцев и 160 хорватов. После первой мировой войны начинается оптация сербов в Югославию, а также их организованная ассимиляция. Уже в 30-ые годы число сербов было небольшое, а в настоящее время в Беременде нет сербских жителей, но сохранилась их церковь.

Сербская православная церковь в Беременде посвящена Вознесению Христа. Древняя церковь была построена сразу после великого переселения сербов в Венгрию в 1690 г., а современная каменная – была построена в 1754–1755 гг., затем в 1776 г. с разрешения Марии Терезии она была обновлена и украшена новым поколением

сербов. После того, как церковь лишилась прихожан и священника, она осталась без присмотра и можно было опасаться исчезновения или уничтожения инвентаря церкви. Книги из церкви были перевезены для хранения в Музей города Мохач. С разрешения директора музея Дьёрдя Шарошаца, коллега Агнеш Кациба просмотрела эти книги и обратила мое внимание на книгу, на корешке которой тиснение: **патерикъ со слѹжбамъ.**

Книга находится сравнительно в хорошей сохранности, только некоторые страницы выпадают из переплета, в котором переплетены два произведения: *Патерик Печерский* и *Службы Преподобным отцам печерским.* Как сообщается на титульных листах, оба произведения напечатаны в Киево-Печерской Лавре: *Патерик* – в 1783 году, а *Службы* – 1785 году. Книга богато украшена гравюрами.

На титульном листе *Патерика* внизу изображается Лавра с преп. Антонием и Феодосием по бокам. По обеим сторонам (обоим полям) изображаются некоторые печерские святые. По левому полю (снизу вверх): преп. Стефан, Исаакий, Иоанн Многострадальный, Алимпий, Прохор. По правому же полю: преп. игумен Никон, игумен Варлаам, Моисей Угрин, Марко и Агапий. Наверху в центре изображается Успение Богоматери. В левом углу внизу написано, что гравюру "грендеровалъ Яковъ Кончаковский", а в правом – указывается год: "1777 года". Посередине же страницы – текст, воспроизводимый нами ниже по возможности точно (см.: с. 167 и 168).

Вторую часть книги составляют **слѹжбы прпбнымъ ѻ҃цемъ печерскимъ, во ст҃ой кіевопечерской лаврѣ, въ ставропигіи тогѡжде ст҃ѣйшагѡ сѵнода, въ лѣто ѿ сотворенія міра, ҂ѕчг, ѿ рж҃тва же по плоти бг҃а слова, ҂аѱпе · індікта г҃, мца авгоуста.**

Публикуемое нами (на с. 169–180) *Житие преподобного отца нашего Моисея Угрина* помещено на страницах: 104 об. – 108 об. Больше половины страницы 104 об. занимает гравюра, изображающая Моисея Угрина и шесть сцен из его *Жития.* Исследование о *Житии* будет опубликовано отдельно.

во славꙋ ст҃ыꙗ
ѐдиносꙋщнъꙗ, животво-
рѧщїꙗ, и҆ нераздѣлимъꙗ тр҃цы,
оц҃а, и҆ сн҃а, и҆ ст҃аго дх҃а:
Повелѣнїемъ бл҃гочестивѣйшїꙗ само-
державнѣйшїꙗ великїꙗ гдрни нашеꙗ
імператрицы ѐкатерины алеѯїевны
всеꙗ рѡссіи: при наслѣдникѣ ѐꙗ, бл҃го-
вѣрномъ гдрѣ цесаревичѣ и҆ великомъ
кн҃зѣ павлѣ петровичѣ, и҆ при сꙋпрꙋгѣ
ѐгѡ бл҃говѣрной гдрнѣ вѣликой кн҃гинѣ
маріи ѳеодѡровнѣ, и҆ при бл҃говѣрныхъ
гдрѣхъ и҆ великїх кн҃зѣхъ, алекѯандрѣ
павловичѣ, и҆ кѡнстантинѣ
павловичѣ: бл҃гословенїемъ же ст҃ѣйшаго
правителствꙋющаго сѵнода, напечатасѧ
книга сїꙗ патерикъ печерскїй, сїесть,
ѻ҆течникъ, во ст҃ой кїевопечерской лаврѣ,
въ ставропигїи тогѡжде ст҃ѣйшаго
сѵнода, при а҆рхїмандритѣ ѯѡсімѣ,
въ лѣто ѿ сотворенїꙗ міра ҂ѯсча: ѿ рж҃тва
же по плоти бг҃а слова, ҂аѱпг,
індікта а҃, мѣсѧца маїа.


Во славу Стыя
Единосущныя, животворящія, и нераздѣлимыя Троицы,
Отца, и Сына, и Стаго Духа:
Повелѣніемъ Благочестивѣйшія Самодержавнѣйшія Великія Гдрни Нашея
Імператрицы Екатерины Алексіевны
всея Россіи: при Наслѣдникѣ Ея, Благовѣномъ Гдрѣ Цесаревичѣ и Великомъ Князѣ Павлѣ Петровичѣ, и при Супругѣ Его Благовѣрной Гдрнѣ Великой Княгинѣ
Маріи Ѳеодоровнѣ, и при Благовѣрныхъ Гдрѣхъ и Великихъ Князѣхъ, Александрѣ
Павловичѣ, и Константинѣ
Павловичѣ: Благословеніемъ же Стѣйшаго Правительствующаго Синода, Напечатася
Книга сія Патерикъ Печерскій, сіесть,
Отечникъ, во Стой Кіевопечерской Лаврѣ,
въ Ставропигіи Тогожде Стѣйшаго
Синода, при Архімандритѣ Зосімѣ,
въ лѣто Ѿ сотворенія міра ЗСЧА: Ѿ Рѫждества
же по Плоти Бга Слова, АѰПГ.
Індікта А, Мѣсяца Маія.
Гренадеръ Яковъ Кончаковскій
1777 Годо

104 об.

Житіе прпбнагѡ ѻ҃ца нашегѡ Мѡисеа Оугрина.

Иже дѣвства ради страдаше въ лахской земли ѿ нѣкіа жены вдовицы.

Наипаче врагъ нечистый обыче страстію не-
5 чистою блудною, брань воздвизати на чл҃вѣ-
ка, якѡ да тою скверною помраченъ чл҃вѣкъ

не вꙁира́етъ во всѣхъ дѣлѣхъ свои́хъ на Бг҃а:
поне́же чи́стїи ср҃цемъ Бг҃а оу҆ꙁрѧ́тъ. Подвиꙁа́сѧ на
то́и бра́ни па́че и҆ны́хъ, ѕлопострада́въ дово́лнѡ,
10 ꙗ҆́кѡ до́бръ во́инъ Х҃рто́въ, се́и бл҃же́нныи о҆ц҃ъ на́шъ
Мѡѷсе́и, до́ндеже до конца̀ побѣди́ нечи́стагѡ врага̀
си́лꙋ: и҆ на́мъ образъ ѡ҆ста́ви ѿ не́мже пи́шетсѧ сице:

105

Оу҆вѣ́дано бы́сть ѿ се́мъ бл҃же́ннѣмъ Мѡѷсе́и,
ꙗ҆́кѡ ро́домъ бѣ Оу҆гри́нъ, любимь бл҃говѣ́рно-
мꙋ и҆ ст҃о́мꙋ кнѧ́ꙁю и҆ страстоте́рпцꙋ Ро́ссїискомꙋ
Бори́сꙋ: е҆мꙋ́же слꙋжа́ше съ бра́томъ свои́мъ
5 Геѡ́ргїемъ, е҆го́же оу҆би́ша со ст҃ы́мъ Бори́сомъ па́дшаго
на гдн҃ѣ своемъ во́и безбо́жнагѡ Сѧтополка на А҆лтѣ
рѣцѣ, и҆ главꙋ̀ е҆мꙋ̀ ѿрѣꙁа́ша ꙁлатки́ѧ ра́ди грие́ны,
ю҆́же вꙁложи́ на него̀ ст҃ы́и Бори́съ. Се́и же бл҃же́нный
Мѡѷсе́и е҆ди́нъ и҆ꙁбы́въ оу҆бїе́нїѧ, прїи́де во гра́дъ Ки-
10 евъ, къ Преднсла́вѣ сестрѣ̀ А҆рослѧ́вли, и҆ бы́сть та́мѡ
кры́ѧсѧ ѿ Сѧтополка: и҆ молѧ́сѧ Бг҃ꙋ прилѣ́жнѡ,
до́ндеже прїи́де бл҃гочести́вый кнѧ́зь А҆рослѧ́въ, жа́ло-
стїю оу҆бїе́нїѧ бра́тнѧгѡ влеко́мь, и҆ безбо́жнаго Сѧ-
топо́лка побѣди́. Е҆гда́ же Сѧтополкъ и҆ꙁбѣ́гши въ
15 Лѧ́хскꙋю ꙁе́млю, прїи́де па́ки съ Болесла́вомъ, и҆ и҆ꙁга̀
А҆рослѧ́ва, а҆ са́мъ въ Ки́евѣ сѣ́де. Тогда́ Болесла́въ воꙁ-
вращѧ́сѧ въ свою̀ ꙁе́млю, поѧ́тъ съ собо́ю въ плѣ́нъ двѣ
сестры̀ А҆рослѧ́вли, и҆ болѧ́ры е҆гѡ̀ мно́ги, съ ни́мже и҆
сего̀ бл҃же́ннаго Мѡѷсе́а веде́ша, ѿко́ванна по рꙋ́кꙋ и҆
20 по но́гꙋ желѣ́зы тѧ́жкими, е҆го́же тве́рдѡ стрежа́хꙋ:
бѣ́ бо крѣ́покъ тѣ́ломъ, и҆ красе́нъ лице́мъ.

Ви́дѣ же сего̀ бл҃же́ннаго въ Лѧ́хской ꙁемлѣ̀ нѣ́каѧ жена̀
ѿ бл҃горо́дныхъ, красна̀ сꙋ́щи и҆ млада̀, и҆мꙋ́щаѧ бо-

гáтство мнóгое, и҆ влáсть велик8ю, є҆́же м8́жъ съ
25 Болеслáвомъ и҆ды́й не возвратúсѧ, но оу҆бїе́нъ бы́сть на
брáни: тà оу҆бѡ прїе́мши во оу҆́мъ видѣ́нїѧ добро́т8,
оу҆ѧзвúсѧ вожделѣ́нїемъ по́хоти плотскїѧ къ семꙋ̀ прѣ̑б-
номꙋ, и҆ начà лѣ̀стными словесы̀ оу҆вѣщава́ти є҆го̀,
гл҃юще: ѿ чл҃вѣ́че, всѣ́ю таковы́ѧ м8́ки подѣ́млеши:
30 и҆́мѣѧ ра́ѕ8мъ, и҆́мже бы мо́щно ти̑ и҆ѕбы́ти тако-
ва́гѡ ѡ҆кова́нїѧ и҆ страда́нїѧ. Ѿвѣща̀ є҆́й Мѡѷсе́й:
Бг҃ъ сице̑ и҆ѕво́ли. Жена́ же тà речѐ къ немꙋ̀: а҆́ще
мнѣ̀ покори́шисѧ, а҆́зъ тѧ̀ и҆ѕва́влю, и҆ вели́ка сотворю̀
во всѐй Лѧ́хской ѕемлѣ̀, и҆ ѡ҆блада́ти и҆́маши мно́ю, и҆
35 всѐю о҆́бластїю моѐю. Ра́ѕ8мѣвъ же бл҃же́нный вожделѣ́нїе
є҆ѧ̀ скве́рное, гл҃а є҆́й: кото́рый м8́жъ, послꙋ̀шавъ
жены̀, и҆спра́вилсѧ когда̀: А҆да́мъ первоѕда́нный жены̀
послꙋ̀шавъ, и҆ѕ раѧ̀ и҆ѕгна́нъ бы́сть. Самѱѡ́нъ силою па́че
всѣ́хъ преѕспѣ́въ, и҆ ра̑тнымъ ѡ҆долѣ́въ, жено́ю пре́данъ
40 бы́сть и҆ноплеме́нникѡмъ. Соломѡ́нъ премꙋ̀дрости глꙋ-

105 об.

бинꙋ̀ пости́гъ, женѣ̀ повинꙋ̀всѧ, і҆дѡлѡмъ поклони́сѧ.
И҆рѡдъ мнѡ́ги побѣ́ды сотворивъ, женѣ̀ порабо́тивсѧ,
І҆ѡа́нна Прте́чꙋ оу҆сѣ́кнꙋ. ка́кѡ оу҆́бо а҆́зъ свобо́дь бꙋ́дꙋ,
є҆гда̀ ра́бъ сотворю́сѧ женѣ̀, є҆́же ѿ рожде́нїѧ не по-
5 ѕна́хъ; ѻна́ же речѐ: а҆́зъ тѧ̀ и҆скꙋплю̀, и҆ сла́вна со-
творю̀, гдина всемꙋ̀ до́мꙋ моемꙋ̀ оу҆стро́ю, и҆ мꙋ́жа
тѧ̀ и҆́мѣти себѣ̀ хоще̑: то́кмѡ ты во́лю мою̀ со-
твори: не терплю́ бо видѣ́ти красоты̀ твоеѧ̀, бе̑ѕ оу҆ма̀
погꙋбла́емыѧ. Бл҃же́нный же Мѡѷсе́й речѐ къ не́й: до́брѣ
10 вѣ́ждь, ꙗ҆́кѡ не сотворю̀ во́ли твоеѧ̀, ни вла́сти твоеѧ̀,
нижѐ бога́тства хоще̑: но всегѡ̀ сегѡ̀ лꙋ́чши мнѣ̀
є҆́сть дш҃е́внаѧ чтота̀ и҆ тѣле́снаѧ. не бꙋ́ди мнѣ̀ по-

гꙋбити трꙋда̀ пѧти̑ лѣ̑тъ, ꙗ҆̀же мнѣ̀ Гдⷭ҇ь дарова̀
терпѣ̑ти во оу҆ѕахъ сихъ, неповиннꙋ сꙋщꙋ таковымъ
15 мꙋ̑камъ, и҆̀хже ра̑ди оу҆пова̑ю и҆ѕба̑вленъ быти вѣ̑чныхъ
мꙋ̑къ. Тогда̀ жена̀ видѣвши себѐ лиша̑емꙋ таковыѧ
красоты̀, на дрꙋгі̑и совѣ̑тъ дїа̑волскїи пре̑иде, помы-
слившѝ сице: ꙗ҆̀кѡ ꙗ҆̀ще и҆̀скꙋплю̀ е҆го̀, всѧ̑кѡ и҆ невоо̑лею
покоритсѧ мнѣ̀. Посла̀ оу҆̀бо къ плѣнившемꙋ того̀,
20 да во̑ѕметъ оу҆̀ неѧ̀, е҆ли̑кѡ хо̑щетъ, то̑чїю Мѡѷсе̑а
преда̑стъ е҆̀й: о҆̀нъ же полꙋчивъ вре̑мѧ прѡѡбрѣ̑тенїѧ
бога̑тства, ѕѧ̑ оу҆ неѧ̀ ꙗ҆̀кѡ до тысѧщи ѕлатыхъ,
Мѡѷсе̑а же предадѐ е҆̀й. Жена̀ же прїе̑мши вла̑сть над
нимъ, безѕꙋ̑днѡ влеча̑ше е҆го̀ на дѣ̑ло непреподо̑бное.
25 Разрѣ̑шивши бо е҆го̀ ѿ оу҆ѕъ, во многоцѣ̑нныѧ ризы
ѡ҆блечѐ, и҆ сла̑дкими бра̑шны пита̑ше: та̑же ѡ҆сѧза̑нїемъ
любо̑вным ѡ҆бе̑млющи е҆го̀, на тѣ̑леснꙋю по̑хоть нꙋ̑-
дѧше. Бл҃же̑нный же Мѡѷсе̑й видѣ̑въ неистовство жены̀
тоѧ̀, молитвѣ̑ и҆ постꙋ̀ прилѣжа̑ше па̑че, и҆ѕво̑ливъ
30 Бг҃а ра̑ди хлѣ̑бъ сꙋ̑хъ и҆ во̑дꙋ съ чтото̑ю, не̑жели многѡ-
цѣ̑нная бра̑шна и҆ ві̑но съ скве̑рною. И҆ а҆̀бїе красоты̀ ризъ
себѐ ѡ҆бнажи, ꙗ҆̀коже и҆̀ногда̀ І҆ѡ̑сифъ: и҆ и҆ѕбѣ̑жѐ ѿ грѣ-
ха̀, нивочто̑же вмѣ̑нивъ житїѐ міра̀ сегѡ̀. Посра̑млена
оу҆̀бѡ жена̀, на таковꙋ̀ ꙗ҆̀рость подвижесѧ, ꙗ҆̀кѡ оу҆-
35 мы̑слити е҆̀й гла̑домъ оу҆мори̑ти бл҃же̑ннаго ввѐ̑рженнаго
въ темни̑цꙋ. Бг҃ъ же даѧ̑ пищꙋ всѧ̑кои пло̑ти, и҆̀же
препита̀ въ пꙋсты̑нѣ И҆лїю̀ и҆̀ногда̀, та̑же Па̑вла ѻ҆ї̑ве-
скаго, и҆ и҆ны̑хъ мно̑гихъ ра̑бъ своихъ, оу҆пова̑ющихъ
на него̀, не ѡ҆ста̑ви и҆ сегѡ̀ бл҃же̑ннагѡ: И҆̀бо нѣ̑коего ѿ
40 ра̑бъ жены̀ тоѧ̀ на милость преклони, и҆̀же вта̑инѣ

подава̑ше е҆мꙋ̀ пищꙋ: Дрꙋѕі̑и же оу҆вѣ̑щава̑ша е҆го̀, гла-

го́люще: бра́те Моѵсе́е, что̀ возбраня́етъ ти̑ женитися;
е҆ще́ бо мла́дъ е҆́си, а҆ сі̑я вдова̀ поживѐ съ мѹ́жемъ то́чїю
лѣ́то е҆ди́но, и҆ є҆́сть красна̀ па́че и҆ны́хъ же́нъ: бога́т-
5 ство же и҆́мать безчисленное, и҆ вла́сть ве́лїю въ Лѧ́хской
се́й землѣ, ꙗ҆́кѡ ꙗ҆́ще восхотѣ́ла, ниже́ бы кнѧ́зь
гнѹша́лсѧ е҆́ѧ: ты̀ же плѣ́нникъ е҆́си и҆ ра́бъ, и҆ не хо́ще-
ши гдⷭ҇инъ е҆́ѧ бы́ти. А҆́ще ли рече́ши, не̑ могѹ́ престѹпи-
ти за́повѣди хрⷭ҇то́вы; не глетъ ли хрⷭ҇то́съ во е҆ѵ҇ліи:
10 сегѡ̀ ра́ди ѿста́витъ чл҃вѣ́къ о҆ц҃а̀ своего̀ и҆ ма́терь, и҆ при-
лѣ́пится къ женѣ̀ свое́й, и҆ бѹ́дета̀ о҆́ба въ пло́ть е҆ди́нѹ.
та́кожде и҆ а҆́плъ: Лѹ́чше є҆́сть женитися, не́жели разжи-
за́тися. То́иже и҆ ѿ вдовицахъ: Хощѹ̀ ю҆́нымъ вдовицамъ
посѧга́ти: ты̀ же не ѿбѧза́нъ чиномъ мона́шескимъ, но
15 свобо́дь сы́й ѿ того̀. почто̀ ѕлы́мъ и҆ го́ркимъ мѹ́камъ
вдае́шисѧ, и҆ та́кѡ стра́ждеши; А҆́ще ти слѹ́чится оу҆мре́ти
въ бѣ́дѣ се́й, кѹ́ю похвалѹ́ и҆́маши; кто́ бо ѿ пе́рвыхъ
прⷪ҇ве́никъ возгнѹша́сѧ же́нъ, ꙗ҆́коже А҆враа́мъ, І҆са́къ и҆
І҆а́кѡвъ;
никто́же, кромѣ̀ нн҃ѣшнихъ черноризцевъ. І҆ѡ́сифъ въ ма́-
20 лѣ ѿ жены̀ и҆збѣ́жѐ, но послѣ́ди и҆ то́й женѹ̀ поѧ́тъ: и҆
ты̀ оу҆бо̀ а҆́ще нн҃ѣ съ живото́мъ ѿ жены̀ сеѧ̀ и҆зы́деши,
послѣ́ди (ꙗ҆́коже мнимъ) жены̀ та́кожде са́мъ взы́щеши:
и҆ кто̀ не посмѣ́етсѧ твоемѹ̀ безѹ́мїю; оу҆не̑ ти є҆́сть по-
коритисѧ женѣ̀ се́й, и҆ свобо́днѹ быти, и҆ гдⷭ҇инѹ всемѹ̀
25 до́мѹ е҆́ѧ. Бл҃же́нный же Моѵсе́й ѿвѣща̀ и҆́мъ: е҆́й бра́-
тїѧ и҆ до́брїи мои̑ дрѹ́зи, до́брѣ мнѣ̀ совѣ́тѹете, разѹ-
мѣ́ю, ꙗ҆́кѡ лютѣ́йшаѧ ѿ ѕмі́ина щепта́нїѧ є҆́же въ раи̑
къ є҆ѵ҇ѣ, словеса̀ предлага́ете мнѣ̀: Нѹ́дите мѧ̀ покори-
тисѧ женѣ̀ се́й, но ника́коже совѣ́та ва́шегѡ прїи́мѹ.
30 А҆́ще бо мнѣ̀ слѹ́читсѧ и҆ оу҆мре́ти во оу҆за́хъ си́хъ и҆ го́р-
кихъ мѹ́кахъ, всѧ́кѡ ча́ю ѿ Бг҃а милость прїѧ́ти. И҆ а҆́ще
мно́зи прⷪ҇ве́ницы спасо́шасѧ с҆ жена́ми, а҆́зъ е҆ди́нъ грѣ́шенъ

ѣсмь, не могꙋ с҆ женою спастися. Но аще бы и҆ ї҆осифъ по-
винꙋлся первѣе женѣ Пентефріинѣ, то не бы по томъ,
35 егда свою женꙋ поятъ, чртовалъ во Е҆гѵптѣ: Видѣвъ
же Бг҃ъ терпѣніе е҆гѡ прежднее, дарова емꙋ Е҆гѵпетское
царство: тѣмже и҆ въ роды хвалимъ есть, ꙗкѡ цѣломꙋдръ,
аще и҆ чада прижилъ. А҆хъ же не Е҆гѵпетскагѡ чртва желаю,
нижѐ ѡ҆бладати властми, и҆ великъ быти въ Лахской сей
40 землѣ, и҆ чтенъ ꙗвитися далече во всей ѻ҆ссійской землѣ:

106 об.

но вышнагѡ ради чртва вся сія преѡбидѣхъ. сегѡ ради аще
с҆ животомъ и҆зыдꙋ ѿ рꙋки жены сея, никакоже и҆ныя же-
ны взыщꙋ, но черноризецъ (Бг҃ꙋ и҆зволившꙋ) бꙋдꙋ. Что
бо во е҆ѵлїи Хрто́съ рече: Всякъ и҆же и҆ставитъ домъ,
5 и҆ли братїю, и҆ли сестры, и҆ли ѻ҆ца, и҆ли матерь, и҆ли же-
нꙋ, и҆ли чада, и҆ли села, и҆мене моегѡ ради, сторицею
прїиметъ, и҆ животъ вѣчный наслѣдитъ. Хрта ли паче
послꙋшати, и҆ли васъ; А҆пстолъ же глетъ: Не ѡ҆женитися
печется ѿ Гдних, какѡ ѹ҆годити Гдви: А҆ ѡ҆жени-
10 тися печется ѿ мїрских, какѡ ѹ҆годити женѣ. вопро-
шаю ѹ҆бо васъ, комꙋ подобаетъ паче работати, Гдви ли
и҆ли женѣ; Вѣмъ же ꙗкѡ пишетъ и҆ сїе: Рабы, послꙋшайте
господїи своихъ, но во благое а҆ не ѕлое. бꙋди ѹ҆бо разꙋ-
мно вамъ держащымъ мя, ꙗкѡ николиже прелститъ мя
15 красота женская, нижѐ ѿлꙋчитъ менѐ ѿ любве Хрто́вы.

Сїе слышавши жена, и҆нъ помыслъ лꙋкавый въ срцѣ
своемъ прїя, и҆ повелѣ всадити блаженнаго на коня, и҆ со
многими слꙋгами водити по градѡмъ своимъ и҆ селамъ,
глаголющи емꙋ: сїя вся твоя сꙋть, аще ѹ҆гѡдна тебѣ;
20 твори, ꙗкоже хощеши, ѿ всемъ. гла же и҆ къ людемъ: се
гдинъ вашъ, а҆ мои мꙋжъ, вси ѹ҆бо срѣтающе покла-

наитеся ѐмꙋ. Посмѣ́вся же бл҃же́нный безꙋ́мїю жены̀,
речѐ ѐи: всꙋ́е трꙋжда́ешися: не мо́жеши бо прелстити мѧ
тлѣ́нными вещми міра сегѡ̀, нижѐ ѡ҆кра́сти нетлѣ́ннагѡ
25 дх҃о́внагѡ моегѡ̀ бога́тства: разоумѣ́ки, и҆ не троуди́ся
всꙋ́е. Жена́ же съ ꙗ҆ростїю речѐ ѐмꙋ: не вѣ́си ли, ꙗ҆́кѡ про́-
данъ мнѣ̀ е҆си̇; и҆ кто̀ и҆зметъ тѧ̀ ѿ рꙋ́къ моихъ; жи-
ва́го тебѐ ника́коже ѿпꙋщꙋ̀, но по мно́гихъ мꙋ́кахъ сме́р-
ти тѧ̀ преда́мъ. Бл҃же́нный же съ дерзнове́нїемъ ѿвѣща̀ ѐи:
30 не оу҆боюся ѕла̀ ни́коегѡже, ꙗ҆́кѡ Гдь со мно́ю е҆́сть, ѐмꙋ́-
же ѿсе́лѣ (по и҆зволе́нїю е҆гѡ̀) во и҆ноческомъ житїи ра-
бо́тати жела́ю.

И҆ в҃ то̀ вре́мѧ Бг҃ꙋ наставлѧ́ющꙋ, прїи́де къ бл҃же́н-
номꙋ Мѡѷсе́ю ѿ ст҃ыѧ горы̀ нѣ́кїи черноризе́цъ, са́номъ
35 і҆ере́и, и҆ ѡ҆блечѐ е҆го̀ во ст҃ы́и а҆́гг҃лскїи и҆ноческїи о҆́бразъ:
поꙋ́чи же того̀ мно́гѡ ѡ҆ чтотѣ̀, е҆́же не преда́ти плещеи̇
своихъ врагꙋ̀, и҆ тоѧ̀ скве́рныѧ жены̀ не оу҆боѧ́тися, и҆ та́-
кѡ ѿиде. Взы́сканъ же бы́сть таковы́и черноризе́цъ всю́дꙋ,
и҆ не ѡ҆брѣ́тенъ. Тогда̀ жена̀ ѿча́вшися своеѧ̀ наде́жды,
40 ра̑ны тѧ̀жкїѧ возложи на прп҃бнаго и҆́нока Мѡѷсе́а: рас-

107

тѧ́гши бо, повелѣ̀ би́ти е҆го̀ же́злїемъ, ꙗ҆́кѡ и҆ земли̇
напо́лнитися кро́ве е҆гѡ̀. Бїю́щїи же глаго́лаша ѐмꙋ: по-
корися госпожѣ̀ свое́и, и҆ сотвори̇ во́лю ѐѧ, а҆́ще ли пре-
слꙋ́шаеши, то̀ на̀ оу҆ды̀ раздроби́мъ тѣ́ло твоѐ. не мни
5 бо, ꙗ҆́кѡ и҆збѣ́жиши си̇хъ мꙋ́къ, но по мно́гихъ мꙋ́кахъ
го́рцѣ преда́си дꙋ́шꙋ свою̀. Помилꙋ́и са́мъ себѐ, ѿложи
мона́шескїѧ сїѧ рꙋ́бы, и҆блецыся во многоцѣ́нныѧ болѧ́р-
скїѧ ризы̀, и҆ и҆зба́вишися ѡ҆жида́ющихъ тебѐ мꙋ́къ. Ѿвѣща̀
и҆мъ мꙋ́жественный Мѡѷсе́и: бра́тїе, повелѣ́нное ва́мъ тво-
10 ри́те, ника́коже ме́длѧще. мнѣ̀ же ника́коже мо́щно е҆́сть

ѿрецисѧ монашества и любвѐ Бжїѧ, и никоеже томлѐнїе, ни
огнь, ни мечь, ни рани, не могутъ менѐ разлучити ѿ
Бга, и ѿ сегѡ великагѡ англьскагѡ образа. Сей же безсудне-
ки и помраченнѣи женѣ, показавшеи своѐ безсудїе ꙗвѣ,
15 не токмѡ страхъ Бжїи но и судъ чл҃вѣческїи преѡбидѣвшеи
всѧкѡ, безсудà нудѧщеи мѧ на ѡскверненїе и прелюбодѣѧ-
нїе, никакоже покорюсѧ, ни тоѧ ѡканныѧ волю сотворю.
Многу же печаль имущи женà, какѡ бы ѿмстити по-
срамленїе своѐ, написà послѣди къ кнѧзю Болеславу по-
20 сланїе сицевò: Самъ еси, ꙗкѡ мужъ мои оубїенъ бысть
на брани съ тобою, ты же мнѣ далъ еси волю, да его-
же восхощу, поиму себѣ въ мужа: азъ же возлюбихъ
единаго юношу ѿ твоихъ плѣнникѡвъ красна сущаа: и
искупивши, поѧхъ его в домъ свои. Дахъ же за него
25 злата многѡ, и всѐ сущее въ дому моемъ злато и сребро
и власть всю даровахъ ему, точїю да мнѣ мужемъ быти
восхощетъ: онъ же сїѧ всѧ никочтоже вмѣни: многа-
жды же и гладомъ и ранами томлѧхъ его, но ничтоже
оуспѣхъ. Не доволно бысть ему пѧть лѣтъ ѡковану
30 быти ѿ плѣнившагѡ, и сѐ шестое лѣто пребысть оу менѐ,
и многѡ мученъ бысть ѿ менѐ преслушанїѧ ради, еже
самъ на сѧ привлечѐ, по жестосердїю своему: нынѣже и по-
стриженъ есть ѿ нѣкоегѡ чернориза. Ты оубо что по-
велѣваеши ѡ нем, да сотворю;
35 Кнѧзь же Болеславъ повелѣ приѣхати къ себѣ женѣ
той, и Мѡїсеа привезти. Егда же по повелѣнїю егѡ
бысть, видѣвъ прпбнаго, многѡ нудѧше его поѧти
женѣ ту: но не оувѣщà. послѣди же речѐ къ нему, кто
такѡ не чувственъ ꙗкоже ты, иже многихъ благъ и
40 чести лишаешисѧ, и вдалсѧ еси въ горкїѧ муки. ѿ нынѣ

107 об.

бꙋ́ди и҆звѣ́стенъ, ꙗ҆́кѡ живо́тъ и҆ сме́рть предлежи́тъ ти:
и҆ли во́лю госпожи своеѧ̀ сотворившꙋ̀ ѿ на́съ че́стнꙋ быти,
и҆ великꙋ̀ вла́сть и҆мѣ́ти, и҆ли преслꙋ́шавшꙋ по мно́гихъ
мꙋ́кахъ, лю́тꙋю сме́рть прїѧ́ти. Гла́ же и҆ къ женѣ̀: ни-
5 ка́коже кꙋ́пленный тобо́ю плѣ́нникъ бꙋ́ди свобо́денъ, но
а҆́ки гдⷭ҇ѝ ра́бꙋ своемꙋ̀ сотвори, е҆́же хо́щеши: да и҆ про́-
чїи не де́рзнꙋтъ преслꙋ́шати госпо́дїи своихъ. Преподо́б-
ный же о҆́цъ на́шъ Мѡѷсе́и ѿвѣща̀ къ немꙋ: Ка́ѧ по́льза
чл҃вѣ́кꙋ (гл҃етъ Гдⷭ҇ь:) а҆́ще мі́ръ ве́сь приѡбрѧ́щетъ, дꙋ-
10 шꙋ̀ же свою̀ ѿтщетитъ: и҆ли что̀ да́стъ чл҃вѣ́къ и҆змѣ́нꙋ
за дꙋ́шꙋ свою̀; Ты же что̀ мнѣ̀ ѡ҆бѣщава́еши сла́вꙋ и҆
че́сть, е҆́же и҆ са́мъ ско́рѡ ѿпаде́ши, и҆ гро́бъ тѧ̀ прїи-
метъ ничто́же и҆мꙋ́щи: та́кожде и҆ сїѧ̀ скве́рнаѧ жена̀ ѕлѣ̀
оу҆бїе́на бꙋ́детъ. е҆́же и҆ бысть по пророче́нїю прⷪ҇бнагѡ. Но
15 пре́жде тогѡ̀ жена̀ взе́мши на него̀ бо́лшꙋю вла́сть, без-
стꙋ́днѡ па́че влеча́ше его̀ на грѣ́хъ, ꙗ҆́кѡ и҆ повелѣ̀ его̀
нꙋ́ждею положити на о҆́дрѣ своемъ лобыза́ющи и҆ ѡ҆бе́млю-
щи: но не мо́же ни се́ю пре́лестїю на своѐ жела́нїе привлещи
его̀. ре́че же к҃ не́и прⷪ҇бный: всꙋ́е трꙋ́дъ твои̇ ѿ же́но:
20 не мни бо мѧ̀ грѣха̀ сегѡ̀ не творити ꙗ҆́кѡ безꙋ́мна нѣ-
коегѡ, и҆ли не могꙋ́ща: но стра́ха ра́ди Бж҃їѧ гнꙋша́юсѧ
тебѐ нечистыѧ̀. Сїѐ слышавши жена̀, завѣща̀ по́ стꙋ ра́нъ
даѧ̀ти е҆мꙋ̀ на всѧ́къ де́нь: послѣ́ди же и҆ та́иныѧ оу҆́ды
оу҆рѣ́зати е҆мꙋ̀ повелѣ̀. Прⷪ҇бный же Мѡѷсе́и лежа́ше а҆́ки
25 ме́ртвъ ѿ тече́нїѧ кро́ве, е҆два̀ ма́лѡ дыха́нїѧ в҃
себѣ̀ и҆мы́и.

семꙋ̀ соизволѧ̀ѧ Болесла́въ, и҆ хотѧ̀ па́че оу҆гѡ́днаѧ
сотворити женѣ̀, величества ра́ди ро́да е҆ѧ̀, и҆ любвѐ
къ не́и: воздвиже гоне́нїе ве́лїе на черноризцы, и҆ и҆згна̀
30 всѣ́хъ ѿ о҆́бласти своеѧ̀. Бг҃ъ же сотвори ѿмще́нїе за рабы̀

своѧ вскорѣ. Во ѥдинꙋ бо нощь Болеславъ внезапꙋ оумре,
и бысть матежъ великъ во всеи Лѧхскои землѣ: ибо во-
ставше людіе, избиша епкпы и болѧры своѧ, съ ними-
же и та жена безстꙋднаѧ оубіена бысть.
35 Ѡ семъ гнѣвѣ Бжіемъ бывшемъ по изгнаніи чернориз-
цевъ за постриженіе прпбнагѡ Мѡисеа, воспоминаше по
лѣтѣхъ многихъ великомꙋ кнѧзю Кіевскомꙋ Изѧславꙋ,
кнѧгинѧ егѡ Лѧховица сꙋщи, дщерь Болеслава, молѧ съ
наказаніемъ, да не ѿгонитъ ѿ области своеѧ преподоб-
40 наго Антѡніѧ и братіи егѡ, за постриженіе блженнагѡ

108

Варлаама и Ефрема ѥунꙋха. оба́че глаголемъ ѡ настоѧщемъ.
Преподобныи оцъ нашъ Мѡисеи малѡ возмогъ,
пріиде къ Пещерꙋ къ прпбномꙋ Антѡнію, носѧ на себѣ
мꙋченическіѧ раны, ꙗкѡ храбрыи воинъ Христовъ: и
5 живѧше Бгоꙋгодно, подвизаѧсѧ къ молитвѣ, постѣ,
бдѣніи, и во всѣхъ иноческихъ добродѣтелехъ, имиже
до конца побѣди нечистагѡ врага всѧ козни.
За премнѡгіѧ же побѣды страстеи нечистыхъ блꙋд-
ныхъ воюющихъ на сего преподобнаго, дарова емꙋ
10 Гдь силꙋ, побѣждати воюющыѧ и на прочихъ тыѧ-
жде страсти. Нѣкіи бо братъ боримь бысть страстію
на блꙋдъ, и пришедъ, молѧше сего преподобнаго, да
поможетъ емꙋ: Азъ же (рече) аще мнѣ что повелиши,
сохранити до смерти ѡбѣщаюсѧ. преподобныи же гла-
15 голѧ емꙋ: никогдаже рцы слово къ женѣ во всемъ жи-
вотѣ своемъ: онъ же ѡбѣщасѧ со оусердіемъ. Таже стыи
подражаѧ первомꙋ Мѡисею, творѧщемꙋ жезломъ чꙋдеса,
прикоснꙋсѧ лона тѣлесе братнагѡ жезломъ своимъ, без
негѡже не можаше ходити ѡ себѣ, ѿ болѣзни прежде

20 подѧ́тыхъ ра́нъ: и҆ а҆́бїе ѡ҆мертвѣ́ша всѧ̀ стра́сти нечи́-
стыѧ въ тѣ́лесѣ бра́та тогѡ̀: и҆ ѿто́лѣ не бысть вѧ́щше
па́кости є҆мꙋ̀.

Достиже́ оу҆́бѡ сі́и до́брый во́инъ х҃ра́то́въ, во стра-
да́нїи и҆ по́двизѣ своє́мъ Бг҃ꙋго́дномъ шестина́десѧти
25 лѣ́тъ. занѐ пѧ́ть лѣ́тъ во оу҆́зѧхъ оу҆ плѣ́нившагѡ не-
повинныѡ мꙋ́чимь, бл҃года́рственное терпѣ́нїе і҆ѡ́вле по-
казà: шесто́е лѣ́то мꙋ́жественныѡ за чистотꙋ̀ па́че і҆ѡ́си-
фа пострада̀: та́же десѧтолѣ́тнымъ безмо́лвїемъ Пещѐ́р-
нымъ равноа́гг҃лнымъ, пре́даннымъ ѿ ст҃ыѧ А҆дѡ́нскїѧ го-
30 ры, просїѧ пре́жде и҆ны́хъ: а҆́ки о҆́нъ пе́рвый Мѡѷсе́й де-
сѧточисленнымъ зако́номъ, оу҆строе́нїемъ а҆́гг҃лъ пре́дан-
нымъ, ѿ ст҃ыѧ Сїна́искїѧ горы. тѣ́мже и҆ се́й на́шъ
преподо́бный Мѡѷсе́й сподо́бисѧ поистиннѣ̀ Бг҃овидецъ
быти: ѡ҆брѣ́тесѧ бо досто́инъ бл҃же́нства чистыхъ се́рд-
35 цемъ. И҆ на зрѣ́нїе Бж҃їе лице́мъ къ лицꙋ̀ преселисѧ мца
і҆ꙋ́лїа два́десѧть шеста́гѡ днѧ̀, є҆щѐ живꙋ́щꙋ прп҃бномꙋ
А҆нтѡ́нїю: въ є҆гѡ́же Пещѐ́рѣ лежа́тъ и҆ до ны́нѣ нетлѣ́н-
ныѡ, нерастлѣ́вшагѡ чистоты ст҃а́гѡ сегѡ̀ мꙋ́жа чꙋдо-
тво́рныѧ мо́щы.

40 Побѣжда́етъ же моща́ми свои́ми Мѡѷсе́й ст҃ы́й и҆ по

108 об.

сме́рти нечи́стыѧ стра́сти. И҆́коже оу҆вѣ́дѣ і҆ѡа́ннъ ст҃ы́й
многострада́лный: и҆́бо то́й затворивсѧ въ Пещѐ́рѣ, и҆
вкопа́въ себѐ до ра́мъ, противꙋ мощѐ́й преподо́бнагѡ сегѡ̀
Мѡѷсе́а, є҆гда̀ мно́гѡ пострада̀, побѣжда́ѧ блꙋ́днꙋю
5 стра́сть: послѣ́ди слыша гла́съ Гдⷭ҇нь, да помо́литсѧ
мертвецꙋ̀ сꙋ́щемꙋ противꙋ себѐ, преподо́бномꙋ семꙋ̀ Мѡѷ-
се́ю Оу҆́гринꙋ: є҆́же многострада́лный є҆гда̀ сотвори, а҆́бїе
и҆зба́вленъ бысть ѿ нечистыѧ бра́ни. Та́кожде и҆ дрꙋга́го

бра́та стра́стнаго ѿ тоѧ́жде па́кости и҆зба́ви І҆ѡа́ннъ
10 ст҃ыи то́иждє, є҆гда̀ ко́сть є҆дин8 ѿ мощє́й преподо́б-
наго Мѡѷсе́а дадѐ стра́стном8, да приложитъ къ тѣ-
леси своем8: ꙗ҆́коже ѿ то́мъ пишетсѧ въ житїи преподо́б-
наго І҆ѡа́нна многострада́лнаго.

Б8ди оу҆́бо и҆ на́мъ и҆зба́влшымсѧ ѿ всѧ́кїѧ нечистоты̀
15 вожда̀ и҆мѣ́ти наставлѧ́ющаго нєзабл8днѡ, молитвами
своими на пѹ́ть спасителны́й, прп҃бнаго сего̀
Мѡѷсе́а, и҆ съ нимъ поклонитисѧ лицѹ̀
въ Тр҃цѣ покланѧ́емагѡ Бг҃а,
є҆м8же сла́ва ны́нѣ и҆
20 присно, и҆ во вѣ-
ки вѣкѡ́въ,
а҆́минь.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 181-193.

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ЕВ. № 25[1]

Имре Х. Тот

(H. Tóth Imre, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Ев. № **25** Софийской Народной библиотеки "Кирилл и Мефодий" представляет собой обломки апракосного евангелия. **Ев.** № **25** написано на пергаменте. Рукопись состоит из 14 листов, написанных в двух столбцах. Однако по качеству пергамента и по чернилам рукопись можно разделить на 2 части. Как отмечено Б. Цоневым (1910: 26) в его описании, 6 листов написано на желтоватом грубом пергаменте более яркими чернилами, 8 листов же написано на более тонком пергаменте более темными чернилами. Особенности этих частей выделяются Б. Цоневым, однако, он, хотя и подчеркивает разницу между двумя частями, не говорит ничего о том, что указанные особенности возникли бы благодаря тому, что рукопись была переписана не одним, а двумя писцами. Несмотря на хорошо выделяющиеся особенности (напр. постановка буквы **ѫ**) **Ев.** № **25** – как увидим дальше – является работой одного писца.

Размер рукописи 29,5 x 21,5 см. Размер текста 23 x 15 см. Текст написан в двух столбцах по 26 строк.

Рукопись сохранена крайне неудовлетворительно. На листах 2, 5, 6, 7, 14 инициалы вырезаны. На лл. 7–14 текст, из-за порчи

---

[1] Составленное нами краткое палеографическое описание **Ев.** № **25** возникло еще в 1973 году для сборника, изданного отделом рукописей Народной библиотеки "Кирилл и Мефодий" в Софии. Однако, по техническим причинам, только краткая часть палеографического описания рукописи была напечатана в сборнике *(Един езиков памятник в Народната библиотека "Кирил и Методий"*, т. (vol.) XIV (XX), София, 1976, 320–322). С той поры появилась статья О.А. Князевской (1984), проливающая свет на многие вопросы изучения этого фрагмента, дающая его новую датировку. Однако, мы напечатаем наше описание в оригинальном виде, как оно было написано в 1973 году.

пергамента, трудно читается. Сырость почти уничтожила текст на лл. 7, 8б, 9а, 10б, 11а, 11б, 12а, 12б, 13а, 13б, 14а. Кроме сырости темно-коричневые пятна поглощают текст на лл. 11б, 12б, 14а, 14б. Верхние края второй части тоже повреждены.

Рукопись разлинована довольно острым орудием, поэтому следы разлиновки можно отметить на обратной стороне листов. Шильце, в некоторых случаях, испортило даже обратную сторону пергамента (5а). Разлиновка рукописи имеет характерные особенности разлинованных рукописей **в большой лист,** так как текст помещается в двух столбцах. Такого типа разлиновка встречается в Остромировом евангелии и в Святославовом сборнике 1073 года.

Чернила, использованные писцом, по своему оттенку расходятся между собой. В первой части они более яркие, во второй части более темные – коричневого цвета.

Рукопись без переплета. Пагинация более поздняя, причем как на это указано Ивоной Черн, она (пагинация) не соответствует порядку следования евангельских чтений. Приписки, восходящей к писцу **Ев. № 25,** нет. Однако, на л. 1а встречаются написания более поздней рукой чернилами темно-коричневого цвета: гл҃а · г҃ · єѵ҃ в(?)жр҃но · г҃. Там же встречается и более поздняя приписка черными чернилами с полууставным письмом. Неизвестный нам писец – который был по всей вероятности болгарином – исправил текст. Подновление текста дает знать о себе в исправлении буквы ѧ на ѣ, что соответствовало болгарскому произношению ѣ (ѣкѧтьсѧ 1б, ѣко 4б и пр.). Так же не хватает половины л. 8а/8б, которые были вырезаны из рукописи.

Наконец надо отметить, что высота букв неодинакова в **Ев. № 25.** Высота отдельных строчных букв равна 0,4–0,5 см. Высота киноварных незаглавных букв достигает 0,5 см. Маленькие инициалы достигают 1 см (буквы: о 1а, т 8а). Большие же инициалы достигают 4–5 см.

I. Письмо

Прежде чем приступить к анализу почерка, мы считаем уместным указать на некоторые общие особенности письма, которые на первый взгляд бросаются в глаза читателю и составляют специфическую черту письма **Ев. № 25.**

Рукопись написана средним уставом: калиграфическим, ровным, старательным и красивым письмом. По внешнему виду письма можно констатировать, что писец был опытным, почерк которого характеризуется некоторыми индивидуальными особенностями. Пропущенные ошибки в тексте, в большинстве случаев, исправляются самим писцом. Буквы пишутся динамично, с некоторой тенденцией **изысканности.** Расстояние между некоторыми буквами всегда одинаково и строго соблюдается писцом.

Письмо **Ев. № 25** имеет следующие общие особенности:

1. Симметричность букв не сохраняется: можно отметить некоторое **сужение** оформления букв, причем они являются более продолговатыми – высота букв больше их ширины.

2. Появляется разница между тонкими и толстыми черточками, линиями букв. Общей приметой является более тонкое оформление горизонтальных линий. Обе эти особенности представляют собой примету более поздних рукописей (Карский 1929: 128).

3. К индивидуальным особенностям писца следует отнести **утолщение** концов вертикальных линий при помощи нажима пера. Кроме того, в верхних и нижних краях букв писец писал очень тонкие горизонтальные линии в виде очень тонкого окончательного штриха. Эти линии, и внизу, и вверху строки, как бы представляют собой прекращенные промежутком отдельных букв линии, которые водят взор читателя по целой строке. Стержни некоторых букв (**ї, ф, т, ч**) постоянно пишутся **с росчерком.** Подобным образом кончик буквы **щ** тоже имеет росчерк. Некоторые буквы (**ц, ρ**) тоже пишутся с росчерком (даже с шутливыми росчерками на л. 11б).

Мы вспомнили различное количество чернил и пергамента. К ним присоединяется еще более тонкое начертание букв второй части рукописи, что было отмечено Б. Цоневым (1910). Однако, **выдержанное появление** этих индивидуальных черт не дает права для

выделения двух писцов. Христо Кодов, рассмотревший детально рукопись, установил, что отмеченные выше расхождения не дают права выделить второго писца.

Прежде чем закончить общую характеристику письма, мы примечаем, что письмо в обеих частях **Ев.** № **25** имеет общий легкий наклон вправо. Такой наклон, как архаическая черта, имеется и в Энинском апостоле XI века. Однако, в **Ев.** № **25** такой наклон вряд ли можно считать архаической чертой. Он скорее является результатом ускорения темпа письма (Мирчев–Кодов 1965: 165).

Рассмотрев общие особенности письма, приступим к анализу почерка. В **Ев.** № **25** мы обнаруживаем употребление следующих букв. Буквы, обозначающие гласные: **а, є, ѥ, і, о, ѡ, оу, ѹ, ъ, ь, ѣ, ю, ѥ, ꙗ, ѧ, ѫ, ѵ.** Буквы, обозначающие согласные: **б, в, г, д, ж, ѕ, к, л, м, н, п, р, с, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ѳ.**

Сначала рассмотрим особенности почерка букв, обозначающих согласные:

б – Прямой стержень буквы имеет легкий наклон вправо. Овальная, сравнительно большая петля, оформленная внизу тонкой горизонтальной чертой, присоединяется к стержню выше его середины. Буква покрыта тонкой горизонтальной линией вверху, которая, поворачиваясь вниз, образует толстый кончик, сделанный нажимом пера.

в – Стержень буквы прямой с легким наклоном вправо. Верхние и нижние крайние горизонтальные линии очень тонкие. Нижняя петля касается стержня чуть-чуть выше его середины. Хотя верхняя часть буквы меньше нижней, все-таки она выразительна. Такое начертание верхней части буквы **в** встречается уже в Галицком евангелии 1144 года.

г – Стержень буквы прямой. Тонкая горизонтальная верхняя линия крепким нажимом пера переходит в толстый кончик, спускающийся вниз, как в Добриловом евангелии 1164 года. Пишется с росчерком.

д – Начертание буквы похоже на треугольник, боковые линии которого, расширяясь внизу, своими кончиками выходят под строку. Боковые линии на нижней строке соединяются очень тонкой горизонтальной черточкой.

ж – Буква ж пишется в три приема. Стержень буквы прямой. Иногда утрачивается одна из трех верхних или нижних линий (ср. 1а[1], 1а[3]). Широта буквы больше ее высоты. ж теряет свою симметричность и в Добриловом евангелии тем, что верхняя часть буквы меньше нижней, или ее правая часть менее выразительна, чем левая (43а[3], 52а[20], 43а[10], 51а[3]).

ꙁ – Стержень буквы прямой с легким наклоном вправо. Поворачиваясь назад, идет по нижней строке, потом, расширяясь нажимом пера, спускается вниз и вперед. Хвостик оканчивается под строкой приблизительно там, где начинается в строке стержень буквы. Хвостик еще не образует закругление, характерное для памятников XIII века. Такое начертание имеет эта буква и в Добриловом евангелии.

к – Стержень прямой, иногда с наклоном вправо. Правая сторона буквы не соединяется с левой. Правая сторона имеет овальное оформление.

л – Буква имеет хорошо выраженную переднюю часть.

м – Буква м пишется с округленной петлей, которая, хотя и достигает нижней строки, все-таки **не выходит** под строку. Левая сторона оформлена толще правой. Стержень, приближаясь к нижней строке, разветвляется.

н – Стержень буквы прямой. Соединительная – слегка косая – линия начинается ниже верхнего края левого стержня и касается стержня ниже его правой середины, что характерно для XII века. Соединительная линия имеет более архаичное употребление в **Ев. № 25,** чем в Стихираре 1157 года или в Добриловом евангелии, в котором она ставится выше середины стержня.

п – Прямые, довольно далеко расположенные, стержни покрываются на верхней строке очень тонкой черточкой.

р – Верхняя, круглая часть буквы помещается в строке. Кончик, выходящий под строку, написан более тонко. Головка буквы похожа на о.

с – Начертание буквы очень узкое. Маловогнутые кончики являются характерной чертой буквы с в **Ев. № 25.**

т – Имеет прямой стержень, покрытый тонкой горизонтальной черточкой. На ее обоих концах висят крылья, образованные на-

жимом пера. Пропорциональные друг с другом кончики не велики и чуть-чуть спускаются вниз. Приподнятые крылья являются архаической особенностью этой буквы (Карский 1929: 198).

ф – Прямой стержень этой буквы выходит под строку. Верхний и нижний концы стержня утолщаются нажимом пера. Ее средняя, круглая часть помещается в строке. Стержень имеет, и вверху, и внизу расчерк (5а[21], 5а[24], 5а[25]). На л. 5б имеется оформление буквы с внутренним кругом. Овальное оформление буквы ф похоже на букву ѡ (5б[5]).

χ – Обе линии выходят под строку. Верхняя часть буквы помещается в строке.

ш – Состоит из трех вертикальных линий, соединенных между собой на нижней строке тонкой горизонтальной линией. Есть вариант (3а[6]), где соединяющая внизу вертикальные линии черточка чуть-чуть приподнимается вверх с нижней строки. Имеется и вариант, когда ш меньше, чем остальные буквы (3а[5], 4а[3]).

ц – Нижняя горизонтальная линия помещается на нижней строке. Хвостик продолжает правую линию (1б[8]). Однако, есть и вариант, когда он приписывается к правой линии. Такой хвостик бывает потоньше (3б[21]).

ч – Стержень буквы прямой с росчерком. Боковые, верхнии линии, оформляющие чашу, одинаковы, однако без сужения вверху. Чаша округлая, не вилообразная, мелкая по величине. Буква ч сохраняет свою старую форму и не пропадают ее характерные особенности, что наблюдается в памятниках с XIII века. Мелкая, округлая чаша является характерной для XI–XII вв. (Карский 1929: 201).

щ – Кончик с росчерком выходит под строку.

ѳ – Архаической особенностью буквы ѳ является то, что она помещается в строке. В середине буквы ѳ пишется горизонтальная точка с кончиком на обоих концах, которая образуется нажимом пера (11б[24]).

Буквы, обозначающие гласные, имееют следующие особенности:

а – Стержень буквы пишется с некоторым наклоном **влево.** Большая, овальная петля начинается выше середины стержня и до-

стигает нижней строки, где утончаясь, касается стержня буквы на нижней строке.

є, ѥ – Буква є имеет очень узкое начертание. Она представляет собой толстый, петлеобразный, мелкий овал, который с обоих концов имеет тонкий кончик. Средняя часть чуть-чуть выдвигается и помещается посередине и, таким образом, сохраняется пропорциональность частей буквы. Изменения начертания є, начинающиеся в памятниках XIII века, еще не дают знать о себе (Карский 1929: 185). Буква ѥ имеет соединительную линию, которая касается стержня посередине.

и – Буква состоит из двух прямых стержней. Она имеет посередине тонкую поперечную соединительную линию. Буква и имеет архаическое начертание. Соединительная линия в Добриловом евангелии пишется выше середины стержня.

і – Стержень буквы прямой с легким наклоном вправо и с росчерком посередине (5а[9]). Буква пишется редко с двоеточием над ней (3а[8]). На л. 9б вместо двоеточия ставятся две точки. В конце строки обыкновенно употребляется двоеточие. Исключение представляет собой написание бжїи 13б[9].

о – Имеет довольно узкое, немного продолговатое начертание. В маленьком инициале внутри буквы пишется круг (1а), но имеется и вариант, с похожей на латинскую букву формой s в предлоге (9б). Подобное начертание встречается – хотя с обратным s – в Мстиславовом евангелии (Карский 1929: 197).

оу – Состоит из двух букв. Начертание буквы у имеет следующие особенности: левая толстая, косая сторона буквы касается правой на нижней строке. Правая сторона пишется очень тонко, однако она имеет на верхнем краю толстое закругление. Левая сторона пишется с окончательным штрихом внизу. Буква у встречается самостоятельно в слове муро 11б. Вместо буквы оу употребляется лигатура 8, которая пишется одним приемом. Она помещается в строке. Ее левая линия вверху тоньше, чем правая.

ѡ – Буква ѡ имеет очень архаическое начертание, так как она пишется с тремя одинаково-высокими черточками. Средняя линия не ниже боковых, однако она сразу же разветвляется. Боковые, овальные линии буквы ѡ раздвинуты назад. Есть вариант, где сред-

няя часть буквы, чуть-чуть ниже боковых. Однако это не имеет для нашей рукописи решающего значения. Подобное написание, кроме **Ев. № 25,** встречается и в Галицком евангелии 1144 года (Щепкин 1967: 114), а в Добриловом евангелии средняя часть буквы невысокая.

ъ – Имеет прямой стержень с легким наклоном вправо. Буква ъ обыкновенно не выходит из строки. Покрытие стержня очень тонкое. Крючок покрытия поворачивается вниз, но не спускается туда. Овальная петля касается стержня посередине. Нижняя линия петли, лежащая на нижней строке, очень тонкая и иногда приподнимается вверх.

ы – Состоит из ъ и і.

ѣ – Прямая мачта буквы выходит из строки. Мачта и петля написаны толстыми линиями. Коромысло, образованное тонкой поперечной линией, находится на верхней линии строки. Такое начертание характерно для ѣ в Галицком евангелии 1144 года. Единичное написание ѣ с высокой мачтой вызвано положением этой буквы в конце строки, однако эта черта не имеет хронологического значения. Мачта выходит из строки, а коромысло пишется на верхнем ее уровне и в Добриловом евангелии, для которого характерно "узкое" несимметричное начертание этой буквы.

ю – Состоит из букв і и о, соединяемых поперечной чертой, которая отправляется чуть-чуть выше середины буквы і. Легко приподнятая вверх соединительная линия появляется в памятниках русского языка с XIII века. Буква с коромыслом на верхнем уровне является характерной для XII века.

ꙗ – Соединительная линия лежит почти посередине или немного выше середины стержня. Она касается петли и не возвышается над ней, как в Добриловом евангелии.

ѧ – Состоит из двух наклоненных друг к другу, не совсем прямых, а немного овальных линий, соединяемых ниже середины буквы тонкой горизонтальной черточкой, с которой спускается вниз кончик, образованный сильным нажимом пера. Имеется вариант с невыраженной левой стороной. Верхний край буквы не острый и очень часто имеет окончательный штрих.

ѫ – Буква ѫ имеет сравнительно небольшую головку, как и в Мстиславовом евангелии. Нижняя часть буквы похожа на ѧ. Такой вариант встречается в Святославовом сборнике 1073 г. и в Юрьевском евангелии. Наличие буквы ѫ в **Ев. № 25** имеет значение для определения написания **Ев. № 25.** Наличие ѫ можно обнаружить в памятниках русской редакции еще в первой половине XII века, позже ѫ заменен постоянно буквой ѹ (Буслаев 1879: 5). В интересующей нас рукописи буква ѫ пишется с 7 листа. В первой части **Ев. № 25** вообще не употребляется буква ѫ, а во второй из 12 случаев написания буква ѫ в 8 случаях юс большой пишется в конце строки. Сравнивая начертания букв в **Ев. № 25,** можно констатировать, что оно характеризуется некоторой архаичностью.

II. Орнамент

1) **Большие инициалы,** с которых начинается евангельский текст. Таких в **Ев. № 25 пять** и находятся они на первых 6 листах, остальные же не уцелели, а **три** из них было даже вырезано. Во второй части находится только **два** больших инициала (10а, 12а). Другие тоже были отчасти вырезаны, отчасти уничтожились.

2) **Маленькие инициалы.** Ими выделяется начало важнейших евангелийских текстов и встречаются эти инициалы **три** раза. Надо отметить, что на л. 9а употребляется инициал средней величины (ѥ), который больше маленьких инициалов, но меньше больших и по функции отличается от последних, т.к. не указывает на начало нового текста, а только выделяет часть евангельского чтения.

Большие инициалы, в отношении к другим памятникам XII–XIII вв. сравнительно просты. Они не представляют собой целиком уже ни старый геометрический стиль, ни новый тератологический. Они находятся на промежуточной стадии от геометрического к чудовищному, элементы которого Буслаев отметил в Юрьевском и Добриловом евангелиях.

Появляется в инициалах **Ев. № 25** переход к плетению ремней (ср. инициалы 1а, 3а, 4б), однако чудовищные фигуры еще не дают о себе знать в полноте, в зрелом виде, как в других памятниках

древнерусского языка XIII века. В этом отношении дальше всего идет инициал ρ на л. 2а, где ремни петли ρ образуют чудовищную голову. Инициал ρ на л. 4б в развитии тератологического стиля отступает от инициала на листе 2а. Другие инициалы имеют свои параллели в Юрьевском и Добриловом евангелиях (Буслаев 1879: 5).

Интересной общей чертой инициалов **Ев.** № **25** является то, что они нарисованы **суриком,** выражающим только контуры, которые не заполнены другими красками. На лл. 1б, 2а, 2б, 4б, 9а, 10а, 12а можно обнаружить следы синей краски, которая не заполняет целиком контуры инициалов. На л. 8а можно отметить применение синей краски в написании ꙁа, а также и в маленьком инициале т.

Суриком написаны, кроме инициалов, заглавные буквы начала евангельских чтений, за исключением, отмеченных выше, написаний на л. 8а.

III. Строчные и надстрочные знаки

В **Ев.** № **25** можно обнаружить употребление строчных и надстрочных знаков. Из строчных знаков писцом были использованы следующие: точка, в конце строки и внутри, четыре точки ∴, четыре точки + черточка. Точка обыкновенно ставится по середине высоты строки (ср. 1а), но можно отметить ее и в заглавиях евангельских чтений (ср. 2а). Три точки и три точки + черточка пишутся писцом и в конце евангельских чтений (3б, 6б), и в конце их заглавий. В последнем случае эти знаки написаны киноварью. Точка ставится и перед буквами и после них, если они имеют числовые значения (1а, 8а). Четвероточие написано синей краской. Из надстрочных знаков писец **Ев.** № **25** употреблял **титла** и, в более редких случаях, **точки** или **черточки.** Титло имеет очень простой вид: оно представляет короткую горизонтальную линию (в большинстве случаев очень тонкую), с концов которой спускаются вниз маленькие кончики, образованные нажимом пера (˜). Имеется и такой вариант титла, где левый кончик приподнимается вверх (˜) на л. 2б, а на л. 3б титло пишется с росчерком. Есть случаи, когда левый кончик почти незаметен (2б, 4б) или имеет дугообразную форму (1б, 2а). Вообще, ле-

вый кончик титла написан менее выразительно. Из надстрочных знаков надо еще отметить точку: двоеточие употребляется над буквой і 2а. Редко пишется полукруг: ѡ 13б, оно 2б или черточка ~: нѝсноѣ 4а.

Говоря о надстрочных знаках надо выделить и **способы** сокращения слов, а их два: слова сокращаются при помощи **титла** или посредством **выноса:**

– под титлом находятся следующие слова: англы 5б, бъ и все его формы: бъ 6б, ба 6а, бжии 5б, бжьа 4а, бжье 2б и пр., блгъ 4а, гь 1а, 3а, 4б, ганъ 7б (2 раза), глю 1б и все его формы: глѣте 1а, глаше 1б, 2а, 3а, глхоу 1б, 2а, глати 3а и пр., двдъ 1б, дхъ 3а, дхоу 3а, дши 2а, дшю 2а (3 раза), дньь 3б, излвъ 5б, іс 1б, 2а, ісоу 2б, ісовъ 4а, крстъ 2а, млрдовавъ 6а, 3а, млтвою 2б, млстына 4б, мстыню 4б, млсть 4б, нбо 2б, нбси 1б, нбсьхъ 1б, нбсныи 1а, нечстомоу 3а, оць 1а, оца2а, 3а, оцю 1б, прроци 5б, снъ 2а, 2б, сноу 3б, срдць 5а, ститъсѧ 1а, стыми 2а, осцаютъ 13б, смрьть 2б, спсти 2а, спсеть 2а, чвкъ 2б, чвкомъ 1а, 1б, чвчь 2а, чвчѣстѣ 3б, цроки 13а, црквью 13а, црквьнъмь 13а;

– с выносом букв пишутся следующие слова: соу 1б, не 1б, по еуа 1б, оно 2б, изнха 2б, бы 3а, ничимь 3б, сыроноу 4б, мать 4б, матъа 7б, литоурь 11б, четвьртъ 12а, възгла 14а, въскрьнеть 3б. Те слова, которые написаны выносом, тоже имеют отмеченную выше форму титла, т.е. пишутся **без дуги.** Имеются случаи, когда слово пишется в древнерусском звуковом облике. Над таким словом пишется буква д самим писцом, однако им пропущен знак выноса: вож^и 13а, 13б. В этих случаях нижняя линия буквы д выполняет функцию титла. Такая функция нижнего края буквы появляется, прежде всего, у буквы д.

Рассмотрев палеографические особенности, мы считаем уместным определить время написания **Ев. № 25** по этим особенностям. В этой работе надо учитывать следующие особенности письма интересующей нас рукописи:

1. Наличие буквы ѫ, которое представляет собой архаизм письма **Ев. № 25.**

2. Начертание некоторых букв. Решающее значение имеют следующие особенности почерка:

– ꙁ пишется без округления;

- н имеет соединительную линию ниже середины стержня буквы;
- ѡ имеет высокую среднюю часть;
- коромысло буквы ѣ на строке;
- ѫ имеет архаическое начертание;
- соединительные линии ѥ, ю, ꙗ помещаются посередине или чуть-чуть выше середины стержня.

Все эти черты, вместе взятые, характерны для XII века. Дополнительно вспомним и то обстоятельство, что в **Ев. № 25** отсутствуют характерные для XIII века особенности начертания букв.

3. Сравнительно древней чертой является написание **д в выносе без дуги или без титла.** Такой способ сокращения, распространяющийся и на другие буквы, прежде всего появился у буквы д.

4. Элементы начинающегося тератологического стиля и некоторые сходства в оформлении инициалов в **Ев. № 25** и в Юрьевом и Добриловом евангелиях указывают на XII век.

Перечисленные выше особенности **позволяют нам отнести Ев. № 25 к концу XII века или к первой половине XIII века.** Графические, орфографические, фонетические особенности **Ев. № 25** поддерживают нашу датировку.

Анализ графики, орфографии и языка показали нам, что **Ев. № 25** возникло в Галицко-Волынской окресности Древней Руси.

Подытоживая результаты нашего анализа, сделанного над **Ев. № 25,** можем установить, что **Ев. № 25 принадлежит к группе галицко-волынских рукописей. Оно было написано в конце XII века или в первой половине XIII века.**

P.S. Познакомившись с описанием Одесского евангелия, сделанным Б.М. Ляпуновым, и работая над текстом (языковыми особенностями) **Ев. № 25,** нам бросались в глаза определенные общие черты, существующие между двумя рукописями. Мы, в то время, склонны были объяснить эти черты, принадлежностью обоих фрагментов к одной и той же графико-орфографической школе. Однако более точное изучение этих двух фрагментов и пергаментного листа № 4.5.22. в Библиотеке Академии наук (Санкт-Петербург) навело О.А. Князевскую (1984: 187–188) на мысль, что эти три фрагмента представляют собой обломки одного и того же кодекса, когда-то выполненного на высоком уровне "строения книги".

ЛИТЕРАТУРА

Буслаев, Ф.И. 1879, Русское искусство в оценке французского ученого. *Критическое обозрение* № 2.

Карский, Е.Ф. 1929, *Славянская кирилловская палеография.* Ленинград.

Князевская, О.А. 1984, Фрагменты одной древнерусской рукописи XII в. В кн.: Горшкова, К.В. (ред.) *История русского языка в древнейший период.* Вып. V. Москва, 154–188.

Мирчев, К. - Кодов, Хр. 1965, *Енински апостол.* София.

Цонев, Б. 1910, *Опис на ръкописите и старопечатни книги на Народната библиотека в София.* София.

Щепкин, В.Н. 1967, *Русская палеография.* Москва.

Diss. Slav.: Ling. XXIV. Szeged, 1996, 195-221.

РЕЦЕНЗИИ

О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ НАУКИ О РУССКОМ ЯЗЫКЕ

1. Предлагаемая вниманию читателей рецензия типа review article мотивирована первым номером двадцатого тома международного журнала по изучению русского языка *Russian Linguistics* (Dordrecht, Boston, London: Kluwer Academic Publishers, 1996, 200 pp.).[1] В этом юбилейном номере предпринималось дать обзор развития языковедческой русистики[2] в разных странах мира в последнее десятилетие, что вполне необходимо в ситуации, возникшей после прекращения противостояния Запада и Востока. Хотя так открылись перспективные возможности сотрудничества, все-таки различия в традициях и барьеры практического характера остались. Поэтому, по мнению редакторов журнала R. Comtet[3], A.G.F. van Holk и W. Lehfeldt (с. 1), особенно желательно более тесное взаимное знакомство с результатами мировой русистики. Интересно отметить, что стремлению к международному обмену мнениями при изменившихся условиях большое внимание уделяется и в новом российском журнале русского языка "Русистика сегодня" (см. рецензию на его первый номер: Lehfeldt 1995).

Естественно, что рассматриваемый номер журнала *Russian Linguistics* не может претендовать на полноту обзора всемирной русистики. Тем не менее, он достаточно представителен. После первой статьи, в которой (с. 3-14) Ľubomír Ďurovič рассказывает о возникновении идеи издавать независимый журнал, посвященный исключительно изучению русского языка, о его основании в Австрии в 1974 г. профессором А.В. Исаченко, заполнившим должность глав-

---

[1] Я выражаю благодарность за критическое чтение рецензии и внесенные коррективы Э. Саламин и Т.В. Веракше.

[2] Далее языковедческая русистика будет упоминаться только как русистика.

[3] Автор этой рецензии придерживается встречаемого в журнале метода написания имен собственных, т.е. имена латинского шрифта не транслитируются кириллицей.

ного редактора до кончины в 1978 г., а также о проблемах в связи с составом редколлегии, об отрицательной реакции советской русистики и о кризисе, наступившем после первых успешных лет, описывается (обычно на фоне прошлого) современное состояние науки о русском языке в 23 странах – кроме России (Ю.Н. Караулов, 89–103)[4], в 18 европейских: в Норвегии (J.I. Bjørnflaten, 15–23), в Швеции (I. Maier, 25–29), в Финляндии (H. Tommola – A. Mustajoki, 31–45), в Дании (J. Nørgård-Sørensen, 47–51), в Соединенном Королевстве (I. Press, 53–60), в Чехии (J. Stiessová – S. Čmerjaková – P. Adamec, 61–63), в Венгрии (F. Papp, 65–69), в Румынии (S. Vaimberg, 71–75), в Болгарии (С. Димитрова 77–82), в Эстонии (А.С. Дуличенко 83–88), в Нидерландах (J. Schaeken 131–139), в Бельгии (K. Blansaer, 141–148), во Франции (R. Comtet, 149–155), в Италии (G. Ziffer, 157–161), в Испании (M.S. Puig – T. Drozdov Díez, 163–169), в Германии (W. Lehfeldt, 171–183), в Австрии (R. Rathmayr, 185–192) и в Швейцарии (D. Weiss, 193–195), в 3 азиатских: в Китае (Z. Dong – D. Wang, 105–113), в Южной Корее (P. Chun-Eun, 115–120) и в Израиле (W. Moskovich, 197–200), а также в США (A. Timberlake, 121–130).

В данной рецензии я стараюсь назвать некоторые характерные черты современной русистики, конечно, не по континентам, а страны сгруппированы по (бывшему) статусу русского языка среди преподаваемых языков в системе образования, потому что именно такой статус повлиял в большой мере и на научное изучение русского языка – русистику. Во втором разделе будет охарактеризовано ее положение в России, в третьем – в некоторых бывших восточных (в политическом смысле слова) странах Европы, а в четвертом – в Западной Европе и США. Такое структурирование частных русистик служит поводом для меня, чтобы в первой части четвертого раздела указать – помимо политического – на факторы иного характера, определяющие возможности преподавания и исследования русского языка, и во второй части четвертого раздела, находясь тогда в условиях их сравниваемости, подробнее размышлять о русистике

---

[4] Здесь и далее при ссылках на обзоры частных русистик указаны авторы и местонахождения отдельных статей.

в более широком контексте не только славистических, но и общелингвистических исследований, о ее желательном соотношении с последними изысканиями.

2. Рассмотрим сначала русистику в России – в стране, в которой изучение русского языка представляет собой национальную науку. Именно поэтому оно делится на три направления: помимо фундаментальных исследований, оно проводится с целью как преподавания русского языка в качестве родного, так и обучения ему в качестве неродного. Вместе с этими тремя внешними подходами к русскому языку Ю.Н. Караулов (с. 89) выделяет три внутренних: язык как система, как совокупность текстов и "как способность, присущая человеку, как неотъемлемое свойство homo sapiens, реализуемое им в текстах, обладающее системными качествами, отражающее национальную культуру и включающее этнопсихологические особенности говорящих".[5] Итак, современную русистику можно охарактеризовать в общих чертах пересечением внешних и внутренних подходов.

Направляя читателей за намного большими сведениями к принципиально новому изданию энциклопедии "Русский язык", которое должно увидеть свет в 1996 г., в дальнейшей части своего обзора Ю.Н. Караулов (с. 91–100) коротко описывает следующие основные области исследований:

1. историю языка, включая историческую лексикографию,
2. изучение русских народных говоров,
3. теорию и практику русской лексикографии,
4. современный русский язык,
5. стилистику и
6. источниковедение и лингвистическое издание памятников письменности.

В своей рецензии я хочу обратить внимание лишь **на лексикографию современного русского языка.** Ю.Н. Караулов думает (с. 95), что разнообразие вновь появляющихся словарей нового типа подтверждает высказанную им несколько лет назад идею о лексикографиче-

---

[5] В лингвистической литературе известно несколько противопоставлений (дву- или трехчленных) внутри общего понятия языка, см.: Арутюнова 1990.

ской параметризации, т.е. об ословаривании результатов лингвистических исследований. Эту тенденцию отражает более или менее и раздел (с. 100–103), в котором актуальное теоретическое состояние русистики характеризуется с помощью наиболее отчетливо определившихся методологических программ - комплексов идей, касающихся сущностных свойств языка и составляющих целостную концепцию. Ведь - помимо методологических программ "Теория функциональной грамматики" (А.В. Бондарко)[6], "Лингвистическая поэтика" (В.П. Григорьев), "Историческое словообразование русского языка" (И.С. Улуханов) и "Логический анализ языка" (Н.Д. Арутюнова) – даются краткие сведения о трех концепциях, которые ориентированы и на составление словарей. С методологической программой "Русский язык и языковая личность" (Ю.Н. Караулов) связано построение ассоциативно-вербальной сети русского языка, репрезентирующей языковую способность. В рамках "Интегрального описания языка" разрабатывается принципиально новый синонимический словарь. Методологическая программа "От системы в лексике к системе в грамматике" (Н.Ю. Шведова) направлена на создание словаря идеографического типа, в котором "лексика каждой части речи структурирована с помощью "лексических деревьев", построенных для определенных семантических классов" (с. 96). К тому же, из трех других, лишь названных Н.Ю. Карауловым методологических программ две представляют собой лексикографически релевантные: "Русская мотивология" (О.И. Блинова), которая "делает объектом лексикографирования мотивационные отношения в лексике в интерпретации носителей диалектной речи" (с. 95), и "Русский глагол: словарное представление" (Э.В. Кузнецова - Л.Г. Бабенко).

Итак, имея в виду широкий диапазон лексикографических проектов и их высокопропорциональность среди исследовательских программ, значение этой дисциплины в российской русистике трудно переоценить.

3. В этом разделе моей рецензии речь пойдет о состоянии науки о русском языке в Чешской республике, Венгрии, Румынии и Германии (конечно, в той части воссоединенной Германии, которая

---

[6] В скобках указаны руководители названных программ.

раньше называлась ГДР). Кардинальные и глубокие изменения во всех сферах общественной действительности после 1989-го года резко повлияли и на статус русского языка как учебного предмета. Возможность свободного выбора иностранного языка в школах привела к уменьшению удельного веса русского языка. Этому сопутствовала необходимость сокращения числа вузовских преподавателей (ср.: Papp, 65; Lehfeldt, 172–173).

Что касается научного профиля русистики в названных странах, то из традиционных исследований, охватывающих разные аспекты истории, системы и функционирования русского языка, как особенно характерное – но это вполне естественно – можно выделить **контрастивное его изучение,** которое и в настоящее время не теряет значения. А из актуальных изысканий, реагирующих на сложившуюся обстановку, надо упомянуть **описание новых терминосистем,** напр., экономики, банковского дела, маркетинга и менеджмента, опять же часто в сопоставительном плане да и с дидактической целью (см., напр.: Petuhova 1994).

Еще один момент, важный с точки зрения как педагогической деятельности, так и научных исследований. В указанный критический период надо было редуцировать огромное преобладание русского языка в рамках славистики в пользу других славянских языков (см.: Lehfeldt, 172). Об этом необходимом процессе свидетельствует соединение кафедры русского языка с кафедрой славистики в Оломоуце (Stiessová–Čmerjaková–Adamec, 62) и создание новых кафедр славистики в бывшей ГДР, причем новые профессора нередко являются славистами, вышедшими из университетов "старой" ФРГ (с. 173). Также была оформлена Кафедра славянской филологии с болгарским, сербским и украинским отделениями в рабочем месте автора данных строк, в Сегедском университете (Венгрия) на базе научного потенциала работников бывшей кафедры русского языка и литературы, отличающейся сильной ориентацией на сравнительно-историческое языкознание и кадрами, изучающими и другие славянские языки. Есть основания надеяться, что выпускники, владеющие не одним славянским языком, поступят на рынок рабочей силы с хорошими шансами.

Небезынтересно заключить этот раздел цитатой, демонстрирующей своеобразное, несколько отличающееся от вышеописанного, положение русистики в Болгарии: "Меняя свою форму и содержание, они [русско-болгарские культурные связи] не перестают быть важным фактором духовной и социальной жизни страны. Это внеязыковое обстоятельство, наряду с чисто научными соображениями, способствует тому, что русистика в настоящее время является ведущей областью в рамках болгарских славистических изысканий" (с. 77).

4.1. Современное состояние русистики не менее сложно в Западной Европе и США. Во второй половине 80-х годов, в эпоху горбачевской политики перестройки и гласности интерес к русскому языку вырос на Западе, что считалось обнадеживающей тенденцией. Однако в наше десятилетие во многих странах число желающих изучать русский язык в средних школах и вузах снижается. Об этом сообщают авторы, пишущие о русистике в Нидерландах (однако, если принять во внимание суммарное число студентов последних двух десятилетий, число поступающих в 1993 г. – фактически среднее (с. 131)), во Франции (с. 152), в Италии (с. 157), в западной части воссоединенной Германии (с. 173), в Австрии (с. 187), а также в США (падение не нетипично до 50% по сравнению с пиком в 1989–1990 учебном году (с. 122)). Из-за своеобразия системы высшего образования в Соединенном Королевстве точное общее число студентов-русистов неизвестно. Тем не менее в основном оно несомненно сокращается и некоторые считают ситуацию ухудшающейся (с. 54). В то же время интересно отметить, что есть и западные страны, в которых нет этого международного феномена – (резкого) спада. В Швейцарии "число студентов удерживается примерно на том же уровне, как и 5 лет тому назад" (с. 193). А что касается Норвегии, хотя число изучающих русскую филологию немного меньше, чем в начале 90-х годов, "пока нет обстоятельств, которые указали бы на резкий спад интереса к русскому языку в ближайшее время" (с. 22). Наоборот, исторические обстоятельства и геогрефическое положение содействовали созданию понятия "Баренцев регион" со стороны норвежского правительства как регион особого сотрудничества между Норвегией, Россией, Швецией и Финляндией на севере (с. 20).

Что же касается вузов Финляндии, то в Хельсинки такой большой конкурс поступающих, что в последние годы на одно место приходится пять человек (сн. 3 на с. 41).[7]

Причиной снижения интереса к русскому языку в школах и вузах можно назвать, в первую очередь, теперешнее российское экономическое и социальное положение. Однако, с одной стороны, как это было упомянуто выше о Швейцарии, оно не обязательно влияет отрицательно. С другой стороны, в статье A. Timberlake-a (с. 124) в качестве объяснения ситуации в США излагается, что – после драматического редуцирования напряженности между Востоком и Западом в результате разрушения Берлинской стены – русское общество и культура далее не рассматриваются как экзотические и угрожающие, что ранее мотивировало интерес к русскому языку. Следует отметить, что в США учебные программы еще не модифицированы с учетом новых практических задач, напр. вступить в контакты в сфере бизнеса с бывшими советскими государствами на русском языке. Ср. сказанное выше об исследовании новых терминосистем, а также тот факт, что в Бельгии вузы, выпускающие переводчиков, приняли больше студентов русского языка, чем славистические кафедры[8] университетов (с. 141).

Сокращение числа студентов не могло бы наступить в более плохое для профессии время. Ведь в конце 80-х годов экономическое развитие прекратилось на Западе. Секторы хозяйства, не производящие прибыль, в частности учреждения образования, начали располагать меньшими материальными средствами из государственного бюджета. Решения о деньгах, адресованных этой области, в возрастающей мере принимаются под давлением рынка, т.е., напр., в зависимости от количества поступающих в вузы. В связи с этим планируют еще дальше уменьшить небольшие преподавательские составы славистических отделений, напр. в Нидерландах (с. 136) и в Бельгии (с. 145). Ради справедливости I. Press (сн. 2 на с. 60) заме-

---

[7] В связи с Швецией, Данией, Бельгией и Испанией цифры относительно изменения числа студентов после горбачевского перестроечного периода отсутствуют в соответствующих статьях.

[8] На Западе обычно бывают как раз кафедры славистики, а не русистики. Об этом более подробно будет идти речь ниже.

чает, что в университетах Соединенного Королевства не только русский язык находится в нехороших условиях, даже пропорция "студент–преподаватель" благополучнее в случае русского языка, чем других.

Замечание I. Press-а дает повод взять следующий фактор, определяющий кризисное состояние русистики. A. Timberlake (с. 124) утверждает, что русским штудиям не благоприятствует и общее положение гуманитарных наук: существует безразличие к последним. Что касается изучения иностранных языков, то оно американскими студентами считается неважным, почти нет места на Земном шаре, где было бы возможно не употреблять английский язык в профессиональном общении. A. Timberlake (с. 125) называет еще один достойный внимания фактор – научно-философский вызов употребления универсалистской методологии и применения универсальных моделей к частным явлениям, напр. к русскому языку и литературе. Однако он оказывает неоднозначное влияние на русистику. С одной стороны, таким способом могут быть выявлены структуры, которые по-другому не дали бы знать о себе, а с другой, необходимость быть теоретически свежим может направить внимание ученых как раз на аспекты, которые интерпретируемы с помощью всеобщих моделей. Универсализм имеет свой эффект в издательском деле. Стало нерентабильным для издательств публиковать труды, посвященные исключительно, напр., русскому языку. Но если работа сочетает анализ славянских языков и универсалистский угол зрения, издательство может предпринять ее напечатание. Я утверждаю это, имея в виду монографию Franks-а (1995), которая из-за своей научной ценности, образцового соединения двух направлений должна стать объектом нашего рассмотрения ниже.

4.2. Перейдем к характеристике научного профиля русистики на Западе. Конечно, здесь нет места, даже не стоит суммарно повторять оригинально суммарные описания исследований. Автору данной рецензирующей статьи хочется выделить лишь два момента, которые можно считать менее характерными для восточной русистики, чем для западной, и поэтому в большей мере поучительными ученым бывшего социалистического лагеря, где до недавнего времени изучение русского языка было мотивировано главным образом

его статусом обязательного учебного предмета. В изменившихся условиях – вместе с новыми практическими вызовами – эти два момента могут ориентировать будущую работу в нашей области – при проведении русистических исследований, а также при обучении русистике.

Во-первых, на основе чисто научных соображений – в полном согласии с одной из целей нового российского журнала "Русистика сегодня" (Lehfeldt 1995: 392) – желательно, чтобы изучение русского языка проводилось в теснейшей связи с изучением других славянских языков. При этом оно может обладать первенством. Таким образом, русистика находит свое естественное место в славистике. Раньше на Востоке она приобрела почти исключительность, остальные славянские языки по сравнению с русским имели подчиненную позицию с точки зрения как исследования, так и преподавания (не считая, возможно, национальные языки славянских стран). Сосуществование славянских языков организационно может отражаться в наличествовании кафедр славистики. Для Запада характерно именно это, но не исключительно. Из замечания H. Tommola и A. Mustajoki (с. 32) выясняется, что от такого славистического профиля многих других западных стран отличается Финляндия: там чаще всего встречаются кафедры русского языка, а в Хельсинкском университете – по историческим и географическим причинам – есть кафедры русского языка и славянской филологии. Важно подчеркнуть, что сосуществование славянских языков предполагает объединяюший подход к этим разным языкам, в организационном плане – кафедры славистики/славянской филологии, а не только кафедры славянских языков, на которых преподавание этих языков ведется независимо друг от друга и о которых говорят во Франции (см. с. 152). А что касается нынешней вузовской ситуации на бывшем Востоке, то о ней уже шла речь выше, в разделе 3.

Сказанное об организационной стороне нашей профессии, наверное, подтверждается и на рынке. В связи с этим ср.: чтобы слависты-лингвисты имели "хороший сбыт", O.T. Yokoyama (1994: 194) считает нужным сохранить требование кафедр славистики США к студентам, заключающееся в изучении еще одного славянского языка кроме русского.

Во-вторых, русистика должна быть теснейшим образом связана не только с славистикой, но и с общим (теоретическим) языкознанием. В нынешние дни неоднократно было указано на необходимые связи частных лингвистик отдельных языков и групп языков с общей лингвистикой. В первую очередь, можно сослаться на мнение (Yokoyama 1994: 192), согласно которому славист должен стремиться к более полному ознакомлению с общелингвистическими теориями, тогда как специалисты по общему языкознанию, занимающиеся славянскими языками, должны познакомиться с традициями славянской филологии. Более резко можно сказать следующее: изучать отдельные языки и группы языков стоит только под углом зрения общего языкознания (ср.: Grenoble 1995: 1; Kiefer 1996: 57, 60). Еще в несколько иной формулировке: данные языков интересны лишь по мере того, как они представляют собой проблему для выдвинутых раньше теорий языка (Kornai-Kálmán 1991: 149). Значит, если своими работами, содержащими данные славянских языков, исследователи хотят вызвать интерес у специалистов по общему языкознанию, им необходимо иметь в виду, что это во многом зависит от оформления и теоретической "упаковки" их мыслей.

С такой точки зрения эксплицитное установление противоположных тенденций в немецкой русистике воссоединенной Германии (с. 174–175) является весьма важным. Вместе с тем, что русистика "старой" ФРГ с большим вниманием обращается к советской/российской русистике, она – в отличие от односторонней зависимости от советской науки, наблюдаемой во многих работах ученых бывшей ГДР[9] – в немалой степени отражает общелингвистические идеи. Таким образом, представители синхронной русистики "старой" ФРГ в определенной мере выполняют роль посредника между двумя языковедческими лагерями, т.е. направлениями в Западной Европе, в США и в СССР/России. Это, конечно, не значит, что в ГДР не было ученого такого формата. В этом отношении следует назвать Р. Ружичку (R. Růžička).

---

[9] Кстати, такая односторонность также отмечается в связи с китайской русистикой (с. 113).

В то же время нельзя забывать о том, что – кроме обобщающих обзорных монографий-справочников, а также энциклопедий и терминологических словарей – единого (общего/теоретического) языкознания не существует. Как для математики и медицины, для лингвистики характерна большая специализация (имеется в виду не специализация по конкретным языкам), в результате которой специалисты по отдельным дисциплинам, допустим, по фонетике, семантике/прагматике, психолингвистике и вычислительной лингвистике, не обязательно понимают друг друга (Kiefer 1996: 57; Kornai–Kálmán 1991: 152–153). Состояние современного языкознания осложняется еще плюрализмом – обилием направлений и школ.

Из универсальных теорий языка мне хочется привлечь внимание русистов/славистов лишь к **трансформационно-генеративной грамматике** (ТГГ) по следующим причинам. Пока, напр., интегральное исследование русского языка в духе системной лексикографии было упомянуто в разделе 2, а также теория "Смысл⇔Текст" И.А. Мельчука была связана с советской русистикой и поэтому можно считать обязательством русистов знакомство с ней (ср. еще сборник его избранных работ – Мельчук 1995), ТГГ почти полностью выпала из поля зрения русистов/славистов, потому что она казалась неудовлетворительной в двух планах: и в идеологическом (особенно на Востоке), и в лингвистическом. О диалектико-материалистических и советских возражениях нечего сказать. А что касается несоответствия ТГГ характеру славянских языков, то я считаю утверждение, согласно которому "китайские русисты достигнут еще больших успехов, если они ближе познакомятся с трансформационной теорией западных лингвистов" (Dong–Wang, 113), верным и в отношении мировой русистики. И первое ознакомление с ее новыми достижениями уже возможно на русском языке благодаря тому, что начали публиковать перевод лекций, прочитанных Н. Хомским в 1987 г. в Университете Манагуа и адресованных аудитории, не имеющей специальной подготовки в области генеративной лингвистики (Хомский 1995–1996). Оно является многообещающим тем более, что после разъединения интереса славистики и ТГГ (хотя и их прежние встречи породили такие важные для русистики работы, как, напр., Папп 1968 и Růžička 1980) – с установлением противопостав-

ления конфигуративности/неконфигуративности структуры предложения и с выдвижением гипотезы параметрического варьирования общих принципов в языках мира – наступила возможность включения раньше не рассмотренных языковых данных, в том числе данных славянских языков, в генеративное теоретизирование (в связи с этим ср. слова L.H. Babby в предисловии к упомянутой выше книге Franks-a). Одной из поставленных целей монографии Franks-a является именно то, чтобы показать, какой ценный источник для ТГГ представляет собой интересующая нас группа языков (с. vii). С ее помощью можно тестировать и уточнить теоретические положения. Но не менее важна другая цель предложенных автором исследований языков из этой группы в терминах ТГГ: порождающие концепции должны были бы помочь славистам в том, как анализировать грамматические проблемы славянских языков (с. vii). Как с точки зрения теоретической лингвистики, так и с прикладной точки зрения обучения иностранным языкам важно подчеркнуть еще то, что обновление ТГГ делает возможным принципиально новое сравнительное изучение славянских и неславянских языков.

Вместе с тем не следует думать, что нынешнее изучение русского языка в духе ТГГ ведется только в США. Здесь можно указать на статьи Dippong-a (1995) и Junghanns-a (1995), прочитанные на II-й Встрече молодых славистов (Leipzig, 1993) и на некоторые доклады I-й Европейской конференции "Формальное описание славянских языков" (Leipzig, 1995) (о конференции сообщают D. Fehrmann и U. Junghanns (1995)).[10] Что касается венгерской русистики, то можно упомянуть лекции профессора L. Hunyadi и автора данных строк в учебной программе Дебреценского и Сегедского университетов соответственно (см. еще: Hunyadi 1991).[11]

---

[10] Конечно, не все участники обоих мероприятий используют теоретические рамки ТГГ, а на них был представлен более широкий диапазон последних исследований в области славянского языковедения.

[11] Я считаю своим обязательством обратить внимание на не учтенные в этой рецензии проблемы славянских языков, требующие социолингвистического теоретизирования (об этом направлении исследований см.: Yokoyama 1994 и особенно Grenoble 1995).

5. В качестве заключительных слов я хочу выразить свое убеждение, что данный номер журнала *Russian Linguistics* будет интересным и полезным не только потому, что он познакомит читателей с современным положением и неоднородными традициями русистики, но и потому, что он заставит всех задуматься над ее перспективами, реализация которых, безусловно необходимая – несмотря на сложившуюся в нашей профессии неблагополучную обстановку –, зависит от совместных усилий русистов разных направлений.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова, Н.Д. 1990, Речь. В кн.: Ярцева, В.Н. (гл. ред.) *Лингвистический энциклопедический словарь.* Москва: Советская энциклопедия, 414-416.

Мельчук, И.А. 1995, *Русский язык в модели "Смысл↔Текст".* Москва-Вена: Школа "Языки русской культуры", Венский славистический альманах.

Папп, Ф. 1968, Формальный синтаксис. В кн.: Папп, Ф. (ред.) *Курс современного русского языка.* Budapest: Tankönyvkiadó, 425-560.

Хомский, Н. 1995-1996, Язык и проблемы знания. *Вестник Московского университета, сер. 9: Филология* № 4, 131-157; № 6, 110-134; № 2, 103-121; № 4, 133-162.

Dippong, H. 1995, COMP, INFL, die Finitheit von *чтобы*+Infinitiv und die Infinitheit von *чтобы*+l-Form des Verbs. In: Junghanns, U. (Hrsg.) *Linguistische Beiträge zur Slawistik aus Deutschland und Österreich: II. JungslavistInnen-Treffen, Leipzig, 1993.* Wien, 51-74. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 37.)

Fehrmann, D. - Junghanns, U. 1995, 1. Europäische Konferenz "Formale Beschreibung slavischer Sprachen". *Wiener Slawistischer Almanach 36.* Wien, 259-265.

Franks, S. 1995, *Parameters of Slavic morphosyntax.* Oxford: OUP.

Grenoble, L.A. 1995, Future directions in Slavic linguistics. *Journal of Slavic Linguistics* 3, 1-12.

Hunyadi, L. 1991, The invariant structure of the Russian sentence. In: Hunyadi L. - Klaudy K. - Lengyel Zs. - Székely G. (szerk.) *Könyv Papp Ferencnek: tanulmánygyűjtemény Papp Ferenc 60. születésnapjára* [Сборник статей в честь 60-летия Ференца Паппа]. Debrecen: KLTE, 37-44.

Junghanns, U. 1995, Funktionale Kategorien im russischen Satz. In: Junghanns, U. (Hrsg.) *Linguistische Beiträge zur Slawistik aus Deutschland und Österreich: II. JungslavistInnen-Treffen, Leipzig, 1993.* Wien, 167-203. (Wiener Slawistischer Almanach, Sonderband 37.)

Kiefer F. 1996, Értékelhető-e a nyelvtudomány [Можно ли оценить языкознание]? *Magyar Tudomány* XLI, 55-68.

Kornai A. - Kálmán L. 1991, Nemzeti nyelv - nemzetközi tudomány [Национальный язык - международная наука]. *Nyelvtudományi Közlemények* 92, 147-156.

Lehfeldt, W. 1995, Русистика сегодня № 1/94, Москва, Отделение литературы и языка Российской академии наук. Институт русского языка РАН, 1994, 144 стр. *Russian Linguistics* 19, 391-395.

Petuhova T. *Magyar–orosz közgazdasági szótár* [Венгерско-русский экономический словарь]. Budapest: Aula, 1994.

Růžička, R. 1980, *Studien zum Verhältnis von Syntax und Semantik im modernen Russischen.* Berlin: Akademie-Verlag.

Yokoyama, O.T. 1994, Slavic linguistics as a discipline and an occupation in the United States. *Journal of Slavic Linguistics* 2, 186-200.

Карой Бибок
(Bibok Károly, JATE, Szláv Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.
e-mail: kbibok@lit.u-szeged.hu)

István Nyomárkay, Sprachhistorisches Wörterbuch des Burgenlandkroatischen. Budapest–Szombathely: Znanstveni institut gradišćanskih Hrvatov – Akadémiai Kiadó – Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 1996, 424 pp.

Книга Иштвана Нёмаркаи представляет собой исторический словарь регионального литературного языка хорватов, переселившихся в XVI веке из хорватских областей в Северо-западную Венгрию, а ныне проживающих на территории трех стран: большей частью в восточной Австрии, в области Бургенланд (Burgenland), в Северо-западной Венгрии, в областях Дьёр-Шопрон (Győr-Sopron megye) и Ваш (Vas megye), а также в нескольких селах Юго-западной Словакии, около нынешней Братиславы (Pozsony – Пожонь, Preßburg). (Карту с обозначением местностей населенных хорватами, принадлежавшими к упомянутой этнической группе, см. Neweklowsky 1989: 19–20.) Упомянутые области до 20-х годов нашего века не имели собственного географического названия, а с того времени начали употреблять название *Бургенланд,* которое хорваты перевели как *Градишче (Gradišće)*. От этого названия области образовался этноним "хорваты в Градишче", т.е. *gradišćanski Hrvati, burgenländische Kroaten*. Географическое название *Бургенланд* в составе этнонима следует понимать шире, чем топоним *Бургенланд*.

Предки бургенландских хорватов прибыли из разных областей Хорватии, поэтому среди них находим носителей всех трех наречий хорватского языка, т.е. чакавского, штокавского и кайкавского наречий. Несмотря на различия диалектальной основы, у бургенландских хорватов литературный язык образовался на основе чакавского наречия, и этот общий, т. н. региональный литературный язык является одной из самых важных этнических черт упомянутой группы хорватов. Самые старинные памятники письменности у бургенландских хорватов датируются шестнадцатым веком (1564, 1568), и их своеобразный региональный литературный язык успешно сопротивлялся всем тенденциям, угрожавшим его сохранению – германизации, мадьяризации, словакизации, а также и сербохорватизации.

Основное научное произведение об этой письменности, которое вероятно повлияло на всех последующих исследователей – это монография академика Ласло Хадровича *Schrifttum und Sprache der burgenländishen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert* (Hadrovics 1974). В нынешнее время региональный литературный язык бургенландских хорватов находится на этапе возрождения: наблюдается обдуманная, систематическая работа над нормативизацией (стандардизацией) регионального литературного языка, чтобы он действительно мог выполнять все функции современного европейского языка, сохранить свои традициональные ценности, но в то же время и корреспонденцию с литературным хорватским языком. С этой целью появляются публикации, статьи и монографии о прошлом и настоящем этого регионального литературного языка, изданы и трехязычные нормативные словари, в которых лексические соответствия даются на немецком, бургенландском хорватском и литературном хорватском языках.

Иштван Нёмаркаи ставил перед собой задачу составить словарь бургенландского хорватского языка по памятникам, написанным или напечатанным в течении трех веков (1611–1908). В словарь входит и лексика памятников, охваченных монографией Л. Хадровича, но автор и по числу, и по тематике значительно расширил круг изучаемых текстов. Рассмотрено 66 библиографических единиц, по большей части книг, между которыми самыми многочислен-

ными оказались книги религиозного содержания, но есть и немало таких, которые отражают повседневную лексику, а также лексику определенных областей науки, напр. географии, физики, математики, истории (правда, судя по списку, только на уровне учебников, в большинстве переводных). В состав изученных произведений входят и сборники народных песен.

Словарные статьи построены следующим образом: наряду с лексическими единицами приводятся и возможные варианты (напр. *advokat – advokatuš),* а по необходимости и формы, которые содержат нужные сведения о склонении или спряжении данных слов, а также и о чередованиях, имеющих место в них. После этого дается информация о том, какой части речи принадлежит данная лексическая единица; у существительных определяется род, а у глаголов вид. Значения слов приводятся на немецком языке. После значений находим обычно по несколько примеров употребления данных слов: приводятся отдельные синтагмы или по необходимости и целые предложения из разных текстов. Число примеров, по-видимому, определяется частотой употребления слов, а также и структурой, сложностью их значения. По словарным статьям составлен и обратный словарь, который размещен в конце издания.

Составление исторического словаря бургенландского хорватского языка имеет огромное значение как для общей славистики, так и для хорватистики. Собранный лексический материал охватывает великую часть письменного наследства бургенландских хорватов, и эта лексика благодаря изданию словаря стала доступной для широкого круга исследователей. Материалы словаря, вероятно, будут доставлять и некоторые новые данные о происхождении бургенландских хорватов; ведь этот вопрос – в области языкознания – до тех пор решался в первую очередь на основании данных фонетики и фонологии. Лексический материал словаря, как можно ожидать, внесет свой вклад и в изучение влияний, которым столетиями подвергался язык бургенландских хорватов. Поскольку словарь изобилует примерами из текстов, которые возникли в разные века, разные влияния и внутренние инновации можно проследить и по эпохам. Примеры, которые в словаре приводятся с целью иллюстрации значений, дают возможность изучать не только отдельные лексемы, но

и их управление, а также и способ составления выражений, употребление лексем в фразеологизмах и т.д. Сличение материалов словаря с лексическим материалом нормативных словарей бургенландского хорватского языка освещает очень интересные тенденции, имеющие место в новейшее время в формировании этого регионального литературного языка. Из любопытства я проверила, какие единицы исторического словаря не представлены в нормативном словаре бургенландского хорватского языка (A–C, стр. 1–24). Как и можно было ожидать, исчезли многие, и иначе редкие слова, как напр. *babak, bumbak, bunika*. Ослабление влияния венгерского языка у большинства бургенландских хорватов повлекло за собой исчезновение некоторых слов венгерского происхождения, или образованных от венгерского корня, напр. *ajandek, aldovnik, banovati se, banta, batriv, batrivnik, betežljivati, bušitovati*. Интересно, что при этом исчезли не все слова от данных корней, напр. и в нормативном словаре находим *aldov, aldovanje, aldovati, aldovni, bantovati/zbantovati, batrenje, batritelj, batriteljica, batriti, beteg, betežan,* даже и *betežljiv,* которого нет в историческом словаре. Судя по материалам исторического словаря и нормативных словарей, в языке бургенландских хорватов произошло (происходит) сближение с литературным хорватским языком, которое проявляется на разных уровнях. В историческом словаре кроме икавских форм находим и экавские *(beli, belanac, belina, bled, blediti, bledovit, bledost, cel, cepnica, cvetak),* что отражает положение в бургенландских хорватских говорах. Нормативный бургенландско-немецко-хорватский словарь вместо экавских форм предлагает (и)йекавские, напр. *bijel(i), bjelance, bjelina, blijed, blijediti, blijednost, cijeli.* (Нередко параллельно с ними предлагаются и икавские формы, напр. *bil, bilina, blid.)* Среди бургенландских хорватских говоров нет (и)йекавских (ср. Neweklowsky 1977: 213–214): ясно, что мы имеем дело с стремлением сохранить и развить корреспонденцию между литературным хорватским и региональным литературным языком бургенландских хорватов. Этим же стремлением объясняется и тот факт, что слово со значением 'ангел' и образованные от него слова, которые в историческом словаре встречаются только с *-l* в конце слова или слога *(anđel, anđelski, arhanđel, nadanđel)* в нормативном словаре находим только с *-o (anđeo, anđeoski, arhanđeo).* На основе

беглого просмотра данных обратного и нормативного словарей можно утвердить, что нормативный словарь и в других случаях вместо форм на *-l* предлагает формы на *-o (pakao, đavao, orao* вм. *pakal, đaval, oral)*. Это стремление в первую очередь является результатом обдуманной работы лингвистов (ср. Benčić 1993: 46).

Изданием исторического словаря бургенландского хорватского языка лексика этого регионального литературного языка стала доступной для исследований по разным аспектам. Но не только для исследований. Как подчеркнул в предисловии Иштван Нёмаркаи, словарь может оказать помощь лингвистам в работе над стандардизацией бургенландского хорватского языка, представляя собой чистый источник для обогащения языка. Некоторые слова, выражения, вероятно, могут спастись от забвения. Словарь оказывает огромную помощь и ученым, изучающим духовное и литературное наследие бургенландских хорватов, а также и всем, кто интересуется этим наследием. Словарь будет очень полезным пособием и для тех студентов хорватистики и славистики, которые не забыли, что для изучения среднеевропейских культур необходимо владеть и немецким языком.

ЛИТЕРАТУРА

Benčić, N. 1993, Mjesto gradišćanskohrvatskoga u standardnom jeziku. *Studia Slavica Savariensia* № 2, 40–48.

Hadrovics, L. 1974, *Schrifttum und Sprache der Burgenländischen Kroaten im 18. und 19. Jahrhundert.* Budapest: Akadémiai Kiadó.

Neweklowsky, G. 1977, Градишћанско-хрватски говори у оквиру српскохрватске дијалектологије (Порекло градишћанских Хрвата). *Научни састанак слависта у Вукове дане: Реферати и саопштења* св. 1. Београд, 213–222.

Neweklowsky, G. 1989, *Der kroatische Dialekt von Stinatz: Wörterbuch.* Wien. (Wiener slawistischer Almanach, Sonderband 25.)

Агнеш Кациба
(Kacziba Ágnes, JATE, Szláv Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

О.В. Творогов (отв. ред.), Энциклопедия "Слова о полку Игореве". Т. 1-5. СПб.: Изд-во "Дмитрий Буланин", 1995, 275 с., 333 с., 386 с., 329 с., 398 с.

Пятитомная *Энциклопедия "Слова о полку Игореве"* представляет собою один из крупнейших трудов, изданных в России в последние годы. Она является долгожданным итогом исследований почти двух столетий, проведенных по жемчужине древнерусской литературы. В нее внесли свой клад не только русские ученые, но и украинские, белорусские, датские и немецкие. Она является продолжением книги *"Слово о полку Игореве" в литературе, искусстве, науке,* изданной в 1989 г. Однако она не является простой глоссарией этого замечательного произведения, так как эта задача уже решена *Словарем-справочником "Слова о полку Игореве"* (сост.: В.Л. Виноградова, вып. 1-6, вып. 1: М.-Л., вып. 2-6: Л., 1965-1984), как это указано в ее предисловии. *Энциклопедия* предназначена для широчайшего круга интересов, к ней могут обратиться представители разных профессий: литературоведы, лингвисты, этнографы, фольклористы, византинисты, востоковеды, туркологи, историки и преподаватели. *Энциклопедия* дает полную картину понятий литературоведческих, лингвистических, религиозных, этнографических, общественных и др. Она ознакомляет нас с учеными, художниками, писателями, поэтами, их научными трудами, произведениями, занимающимися *Словом* или имеющими какую-то связь с ним. В ней широко представлены исторические имена, исторические события, географические названия, предметы, растения, животный мир, важные вопросы, толкования "темных мест" и невполне выясненных слов, которые каким-то образом связаны с *Словом.*

После "Предисловия" помещен текст произведения, в основе которого лежит издание 1800 г. с некоторыми исправлениями. Если бы он (текст) был напечатан древнерусскими (или старославянскими) буквами, он имел бы еще большую выразительную силу. К тексту приложены примечания. После этого следуют статьи *Энциклопедии,* расположенные в алфавите заглавных слов, а также к каждой статье приложена библиография. В конце каждого тома находятся списки основных сокращений, аббревиатур, сокращений названий

периодических и серийных изданий, списки сокращений литературы в библиографических описаниях. К последнему же тому приложены дополнения, карты, именной, географический и предметно-терминологический указатели.

Статьи *Энциклопедии* можно разделить на две группы, как об этом пишется и в самом предисловии (4 с. 1 тома). Первую группу образовывают статьи общего характера, как напр.: *Автор "Слова", Время создания "Слова", Изучение "Слова"* и т.д. Вторая же группа состоит из статей, занимающихся самим текстом *Слова*, его композиционными фрагментами, языком и поэтикой. Таковы напр.: *Плач Ярославны, Лексика "Слова", Ориентализмы в "Слове", Символы в "Слове"* и др. *Энциклопедия* стремится воспроизвести культурный фон, дух и исторические события времени написания *Слова*. Большим ее достоинством является краткая характеристика жизненного пути и деятельности ученых, занимающихся этим произведением Древней Руси. Среди них находятся и такие ученые, о которых до сих пор имелись довольно скудные сведения. В *Энциклопедии* даются также сведения о влиянии *Слова* как в древнерусской литературе, так и в творчестве писателей и поэтов.

После очертания построения и краткого обзора содержания *Энциклопедии* мы перейдем к некоторым замечаниям, возникшим в нас при ее чтении, но не уменьшающим ее достоинства, а также будем давать более подробную характеристику нескольких статей, вызывающих интерес со стороны исторического языкознания. По нынешней обстановке изучения *Слова* не может быть и речи о вопросе его оригинальности. Но с точки зрения его истории было бы нелишенным интереса собрать мнения pro и contra, а также собрать под одной статьей доводы, при помощи которых была доказана оригинальность *Слова*.

Слово известно во всем мире, прежде всего, как выдающееся произведение древнерусской литературы, но не следует пренебрегать и тем, что оно одновременно является одним из ценнейших источников для истории русского, украинского и белорусского языков. Глазами историков языка объем лингвистических статей *Энциклопедии* может казаться небольшим. Разумеется, что главной задачей *Энциклопедии* не может считаться полный охват и объяснение всех лингвистических явлений, но в *Слове* имеются некоторые морфоло-

гические и фонетические явления, заслуживающие упоминания несмотря на, по всей вероятности, заранее определенный объем данных статей. Так, статья *Морфологические особенности языка "Слова"* (т. 3, с. 273–276), написанная В.В. Колесовым в довольно сжатом виде, дает общую характеристику морфологии *Слова,* а также ознакомляет нас и с историей морфологических особенностей *Слова.* После общих статистических сведений о морфологических особенностях *Слова* следует более детальное их описание, основанное в общих чертах на труде С.П. Обнорского. Тут обсуждаются формы склонений и спряжений, система времен, употребление падежных форм, также согласование. Затем даются работы, занимающиеся формальными особенностями самого текста, функционально-стилистическим анализом текста, которые могли доказать "органическую цельность текста" и указать на то, что *"Слово* действительно отражает уровень сознания людей эпохи раннего средневековья" (с. 275). Наше замечание мы хотели бы сделать по поводу глагольной формы 1 л. мн. ч. наст. вр. **мꙋжаимѣсѧ** (с. 27), не получившей места в статье. Эта форма упоминается в *Словаре-справочнике "Слова о полку Игореве"* (вып. 3, с. 115), где приводятся объяснения А.И. Смирнова и О. Огоновського. Первый ученый эту форму считает опиской, а второй принимает ее за окончание 1 л. мн. ч. на *-ме,* которое уживается у русинов угорских и лемков. Н. Каринский (1909: 193) ссылается на *Лекции по истории русского языка* А.И. Соболевского, принимающего это окончание за псковскую особенность. М.А. Соколова (1962: 191–192) тоже видит тут флексию *-ме,* присущую в первую очередь северным (псковским и новгородским) памятникам. Следовательно, эта форма могла бы играть какую-то роль при локализации возникновения списка *Слова,* как указала на это М.А. Соколова.

Переходя к статье *Фонетика "Слова"* (т. 5, с. 170–173), написанной В.В. Колесовым, мы и тут собираемся сделать небольшое замечание. В ней дается краткая история изучения фонетики *Слова* и обзор главнейших проблем, связанных с ее изучением. Здесь мы хотели бы обратить внимание на форму, не упомянутую в статье, а именно: **шизъимъ** (с. 3), хотя она указана в *Словаре-справочнике "Слова о полку Игореве"* (вып. 6, с. 181–182). Несмотря на то, что эта

форма вызывает споры и может подвергаться сомнению, она могла бы иметь какое-то значение при определении места возникновения списка или переписывания *Слова*. Мену *ш* и *с* Н. Каринский (1909: 178) считает характерной для псковских памятников, и она встречается "почти во всех псковских рукописях". Мы считали бы желательным привести некоторые формы, указывающие на цоканье: **луце** (с. 5), **галици** (**стадъі**) (притяжательное прилагательное, твор. п. мн.) (с. 7), **вѣчи** (с. 14) и др. Все эти формы включены в состав *Словаря-справочника "Слова о полку Игореве"* (вып. 3, с. 70–71; вып. 1, с. 155; вып. 1, с. 95–96). Они тоже могли бы иметься в виду при локализации *Слова*. Разумеется, когда мы пытаемся привлечь вышесказанные формы ко вниманию, мы не упускаем из виду возможности, что они появились при переписках текста *Слова*.

Теперь мы переходим к статье *Лексика "Слова"* (т. 3, с. 138–144), написанной тоже В.В. Колесовым. В рамках пяти страниц она содержит самые важные моменты лексики *Слова*, но кроме этого она рассматривает и такие проблемы, как прочтение "темных мест", место написания *Слова* и др., а также она отмечает нынешние (в известной мере и будущие) задачи, связанные с лексикой *Слова*, как напр. обобщающие исследования культурологичного характера и поэтики, а также синтетическая реконструкция звучащего текста. С лексикой *Слова* связана и статья *Яруга* (т. 5, с. 297–299), написанная А.Г. Бобровым, к которой мы хотели бы добавить, что это слово имеется и в венгерском языке *(árok)* и оно тоже считается тюркским заимствованием (TESz. I: 179–180).

Предполагая грядущую популярность *Энциклопедии*, мы считаем огорчающим моментом ее небольшой тираж (5000). После ее появления в свет, по нашему мнению, невелико будет число работ, посвященных *Слову о полку Игореве*, которые могли бы обойтись по крайней мере без одной ссылки на нее. Подытоживая наши мысли, мы можем высказать, что *Энциклопедия* несомненно будет являться полезным достоянием не только библиотек кафедр русского, украинского, белорусского языков или славянской филологии, но также может обогатить домашние библиотеки представителей других профессий и интересующихся культурой и историей средневековья.

ЛИТЕРАТУРА

Каринский, Н. 1909, *Язык Пскова и его области в XV веке.* СПб.
Соколова, М.А. 1962, *Очерки по исторической грамматике русского языка.* Л.: Изд-во Ленинградского университета.

TESz. I – *A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára I: A–Gy.* Budapest: Akadémiai Kiadó, 1967.

Иштван Пожгаи
(Pozsgai István, JATE, Szláv Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

Károly Gadányi, The evolution of literary Slovenian. Melbourne: Academia Press, 1996, 322 pp.

Книга известного венгерского слависта Кароя Гадани посвящается вопросам возникновения лексики современного словенского языка. Этот вопрос имеет довольно значительную литературу, однако рецензируемая книга Кароя Гадани является первым обобщающим трудом в этой области.

Словенский язык не принадлежит к тем славянским языкам, на котором говорит большое число людей. Однако – несмотря на это обстоятельство – словенский язык выделяется из славянских языков некоторыми своими особенностями: своим архаизмом (сохранение и развитие двойственного числа), переходным характером к западнославянским языкам (особенно на диалектном уровне), значительной диалектной раздробленностью, богатством (по мнению некоторых ученых в нем можно выделить 57 диалектов). Эти особенности обеспечивают словенскому языку специальное положение среди славянских языков, и одновременно указывают на то, что образование словенского литературного языка и его словарного состава несомненно было довольно сложным процессом.

Известно, что на территории исторической Венгрии имелось значительное число словенцев, которые говорили на восточном диалекте словенского языка. На основе народных говоров развился своеобразный региональный литературный язык, служащий прежде

всего религиозным целям. Венгерские ученые уделили специальное внимание изучению словенских диалектов и словенскому региональному языку (Я. Мелих, А. Павел, И. Нёмаркаи и др.). Однако книга Кароя Гадани идет дальше в изучении словенского языка; автор изучает словенский язык на более высоком уровне, детально описывая возникновение словарного состава словенского литературного языка.

Удачное решение этой задачи требует разработки специального метода. Кароя Гадани характеризует социолингвистический метод, который сочетается с изучением интралингвистических, интерлингвистических и экстралингвистических факторов образования словарного состава современного стандартного словенского языка. Учет экстралингвистических факторов можно иллюстрировать не только изучением лингвистических контактов между славянскими литературными языками. Автором книги особенно сильно подчеркивается т.н. австрославянский культурно-исторический квази-ареал (ACQ), под которым он понимает обстоятельства культурно-лингвистического развития и интеракции славянских этнических единиц, проживающих на территории Австрийского государства (с. 2). ACQ был ареалом, на котором осуществлялась и интеракция с другими славянскими литературными языками, бытовавшими за пределом Австрийской Монархии. Что касается временных границ исследования Кароя Гадани, они охватывают прежде всего период "национального ренессанса" славянских народов, т.е. период между 1820–1870 годами XIX в. Конечно, автор обращает свое внимание на более ранние моменты, а именно на начало образования словенского литературного языка, на эпоху Реформации, подчеркивая сходство, существующее между эпохами возникновения словенского и немецкого литературных языков. Карой Гадани, руководствуясь этими принципами и методами, разделяет материалы на пять глав, которые носят следующие названия:

Глава 1-ая: Межславянские лингвистические контакты и история славянских национальных языков: новые подходы к их описанию (с. 1–56). Глава 2-ая: Историко-культурные предпосылки образования словенского национального литературного языка (с. 57–103). Глава 3-я: Словарный состав литературного словенского язы-

ка: его структура и происхождение (с. 104–141). Глава 4-ая: Адаптация славянских заимствований в литературном словенском языке (с. 142–151). Глава 5-ая: Новые явления в словенском словообразовании в эпоху национального возрождения (с. 152–170). Выводы (с. 172–181). Перечисленным главам предшествует предисловие проф. Иштвана Нёмаркаи и введение, написанное автором монографии (с. VI–XVI). В конце монографии помещены два приложения.

Центральное место рецензируемой монографии занимает 3-я глава, в которой автором рассматриваются следующие вопросы: утилизация архаической лексики у словенских авторов XIX в., словено-хорватские лингвистические отношение в XIX в., проблемы социально-политической лексики внутри рамок словено-сербо-хорватских лингвистических интеракций, словено-чешские лингвистические контакты во время национального возрождения, венгерские элементы в словенской литературной лексике. Чтобы показать методы, использованные автором и достигнутые им результаты, мы коротко остановимся на вопросах венгерских элементов в словенском литературном языке. Исходным пунктом автора является тезис о том, что влияние венгерского языка на (стандартный) словенский словарный состав является незначительным. Однако этот тезис нуждается в некоторой поправке, если мы учтем восточные словенские диалекты. В этих диалектах, на кайкавской хорватской территории (Кроатское Загорье), и в штокавских диалектах Славонии и Воеводины имеются значительные по числу заимствования из венгерского языка. Особенно заметным является влияние венгерского языка в замурских диалектах словенского языка, представители которых больше 1000 лет входили в состав исторической Венгрии (с. 136–137). К этому высказыванию автора следует добавить, что в замурских диалектах словенского языка – как на это было указано А. Павелом – влияние венгерского языка не ограничивается только уровнем лексики. Влияние венгерского языка на стандартный словенский язык невозможно сравнить с влиянием других неславянских языков (немецкого, латинского и итальянского).

В составе лексики словенского литературного стандарта автор выделил около 10-ти "чисто" венгерских заимствований: *cula (< cula), čunka (< csúnya), gumb (< gomb), hasek, hasniki (< haszon), kinč*

(< kincs), kip (< kép), šantati (< sánta), orjak (< óriás). Через венгерское посредничество вошли в словенский состав и немецкие *(beteg, betežen* 'больной', *soba* 'комната') романские *(forint* 'форинт', *pajčolan* 'материал для одежды') элементы.

Особенно интересными являются случаи **обратного заимствования,** когда через венгерское посредничество проникают в словенскую лексику такие слова, которые в венгерском языке являются славянскими по своему происхождению: *brat* 'брат, монах', *kundra* 'кудрявый', *vajda* 'воевода' и пр.

Что касается венгерских заимствований, слово *orjak* 'гигант' было бы более уместно поместить в списке обратных заимствований, так как это слово в венгерском языке – по убедительному мнению академика Л. Хадровича – является заимствованием из древнерусского языка. Карой Гадани приводит большой материал о венгерских заимствованиях из восточнословенских диалектов *(čunta* 'кость' < *csont, ruham* 'штурм' < *roham, mešter* 'мастер' < *mester).* Среди этих слов особого внимания заслуживает числительное *jezero* '1000' < *ezer,* так как – по нашему наблюдению – оно известно из рукописей закарпатского происхождения *(езер, езера).*

Что касается истории венгерских заимствований в словенском и кайкавском хорватском языках, Карой Гадани подчеркивает, что заимствование из венгерского языка было начато в более ранюю эпоху, особенно в XVI в. или еще раньше (с. 140).

Мы рассмотрели эту главу как образец удачного, научного подхода автора к поднятым вопросам в изучении развития и кристаллизации словенского словарного состава. Глубина и многосторонность, убедительная аргументация, тщательная и добросовестная трактовка составляют не только ценность рассмотренной нами главы, но являются характерными особенностями всей монографии Кароя Гадани, которая несомненно представляет собой ценный вклад в изучение словенского языка.

Подводя итоги наших наблюдений о рецензируемой книге, можем сказать следующее. Содержание книги, методы, использованные Кароем Гадани, показывают, что он осуществил свою исследовательскую программу на высоком научном уровне и своим трудом обогатил как международную, так и венгерскую научную литерату-

ру о славистике. Книга выделяется не только интересными методическими положениями, но и ценными конкретными наблюдениями, выводами автора, которые обеспечивают монографии Кароя Гадани значительное место не только в словенистике, но и в славистике. Книга может быть полезным источником и для представителей других специальностей.

Имре Х. Тот
(H. Tóth Imre, JATE, Szláv Filológiai Tanszék
H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.)

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В ежегодном сборнике *Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica,* издающемся Кафедрой славянской филологии Сегедского университета им. Аттилы Йожефа (Венгрия), публикуются работы (объемом макс. до 12 страниц) по вопросам теоретико-описательного, сравнительно-исторического исследования славянских языков, а также сопоставления их с венгерским языком на английском, немецком, русском и других славянских языках. Рукописи присылаются в редакцию по адресу главного редактора: **Dr. H. Tóth Imre professzor, József Attila Tudományegyetem, Szláv Filológiai Tanszék, H-6722 Szeged, Egyetem u. 2.** Рецензирование рукописей - в случае, если автор пишет не на родном языке - входит в обязанность автора. Рукописи, посланные в другие редакции или уже опубликованные, не принимаются. Авторам опубликованных рукописей бесплатно высылаются по 10 оттисков статей/рецензий. Корректура авторам не высылается. Рукописи не сохраняются и не возвращаются.

Рукописи должны быть представлены в двух экземплярах, напечатанных на машинке или микрокомпьютере через два интервала с широкими полями. (В этом регламенте далее имеются в виду рукописи, написанные кириллицей, однако употребление латиницы в основном не изменяет оформления.)

I. Заголовок **статьи** пишется прописными буквами. Под ним указываются имя, (отчество) и фамилия автора (на кирилице, в таком порядке без сокращений). Затем приводятся сведения об авторе для научной корреспонденции (на языке или на одном из языков страны, в которой живет автор).

При оформлении статей авторы должны руководствоваться **следующими условными обозначениями:**

1. Примеры длиной в целое предложение (включая примеры из художественной литературы) нумеруются и приводятся в отдельных строках. Напр.:

(1) а. Петр ушел из университета около 10 ч. утра.

б. Петр ушел из университета в начале семидесятых годов.

Ссылки на примеры такого типа в тексте оформляются так: Пример (1а) показывает, что...

Слова, словосочетания языка-объекта, входящие в состав предложений метаязыка, не нумеруются, и их принято давать курсивом (подчеркивать на машинке одной прямой линией). Смысловые выделения обозначаются жирным шрифтом (подчеркивать на машинке прерывистой линией). Для указания значений употребляются сингулярные кавычки.

Знаки "-", "–" и " – ", т.е. дефис, тире (без интервалов и с интервалами) отчетливо отграничиваются друг от друга. Знаки, которые не могут быть обозначены в машинописи, аккуратно оформляются ручным способом.

Любые пропуски в цитатах (из худ. или спец. литературы) обозначаются многоточием в квадратных скобках. Объясняющие вставки в цитатах, не относящиеся к оригиналу, обязательно заключаются в квадратные скобки.

2. Ссылки на литературу приводятся сокращенно, т.е. с указанием фамилии автора, года издания и страниц (если последнее необходимо) в самом тескте по сле-

дующим образцам: Ю.Д. Апресян (1986: 66-67) отмечает... В работе Ю.Д. Апресяна (1986: 66-67) отмечается... В специальной литературе (Апресян 1986: 66-67) отмечается... Этот вопрос нами дальше не исследуется (об этом см. еще Апресян 1986); Ф. Кифер (Kiefer 1983: 34) отмечает... В работе Ф. Кифера (Kiefer 1983: 34) отмечается... В специальной литературе (Kiefer 1983: 34) отмечается... Этот вопрос нами дальше не исследуется (об этом подробнее см. Kiefer 1983).

3. Подстрочные примечания имеют сквозную (консекутивную) нумерацию.

4. Список библиографических единиц, которые в сокращенном варианте фигурируют в ссылках, оформляется - под заглавием ЛИТЕРАТУРА - по следующим образцам (первые три из них служат примером для книг, а остальные в отдельности - для статей в сборниках, в ежегодных сборниках, в журналах без указания на том, в журналах с указанием на том (с сквозной нумерацией страниц в одном томе)):

Белошапкова, В.А. (ред.) 1989, *Современный русский язык.* Москва: Высшая школа, изд. 2-е, испр. и доп.

Kiefer F. 1983, *Az előfeltevések elmélete.* Budapest: Akadémiai Kiadó.

Lakoff, G. - Johnson, M. 1980, *Metaphors we live by.* Chicago-London: University of Chicago Press.

Ружичка, Р. 1988, Скрытый субъект и пустое подлежащее. В кн.: Караулов, Ю.Н. (отв. ред.) *Язык: система и функционирование.* Москва: Наука, 216-219.

Бархударова, Е.Л. 1991, Особенности позиционного варьирования русских согласных фонем на стыках словоформ. *Dissertationes Slavicae: Sectio Linguistica* XXII. Szeged, 3-10.

Апресян, Ю.Д. 1986, Интегральное описание языка и толковый словарь. *ВЯ* № 2, 57-70.

Булыгина, Т.В. 1981, О границах и содержании прагматики. *ИАН СЛЯ* 40, 333-342.

Сокращения названий журналов см.: *Вопросы языкознания* 1996, № 3, 158-159. Не перечисленные там журналы даются без сокращения.

При наличии у одного автора нескольких библиографических единиц одного и того же года издания должны быть использованы (после года издания) буквы: а, б, в... или a, b, c...

Сначала приводятся публикации на кириллице по алфавиту, затем - работы на латинице.

II. Что касается **рецензий,** то должны быть учтены следующие отличительные черты. Название содержит полное библиографическое описание рецензируемой работы. Автор рецензии и сведения о нем указываются в конце текста. Образцы заглавий рецензий:

В.А. Белошапкова (ред.), Современный русский язык. Москва: Высшая школа, 1989, изд. 2-е, испр. и доп., 800 с.

G. Lakoff - M. Johnson, Metaphors we live by. Chicago-London: University of Chicago Press, 1980, xiii + 242 pp.

Felelős kiadó a JATE Szláv Filológiai Tanszékének vezetője
Készült 200 példányban
A szövegszerkesztést Sajtos Natália és Gy. Login Adrienne
végezte WordPerfect® 6.0 szövegszerkesztő programmal